

18+

Игорь Анатольевич
Белкин-Ханадеев

Яблоки с неба

Избранная проза

Игорь Белкин-Ханадеев

Яблоки с неба. Избранная проза

«Издательские решения»

Белкин-Ханадеев И. А.

Яблоки с неба. Избранная проза / И. А. Белкин-Ханадеев —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-598778-5

"Яблоки с неба" - сборник лучших прозаических произведений писателя
Игоря Белкина-Ханадеева, написанных в период с 2016 по 2019 годы.

ISBN 978-5-00-598778-5

© Белкин-Ханадеев И. А.

© Издательские решения

Содержание

СМЁРФ	6
ПОБЕДИТЕЛЬ	11
НИМФА	27
ИВАН ИВАНЫЧ	35
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Яблоки с неба

Избранная проза

Игорь Анатольевич Белкин-Ханадеев

© Игорь Анатольевич Белкин-Ханадеев, 2023

ISBN 978-5-0059-8778-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СМЁРФ

Песок возле калитки появился рано утром – целая гора.

«Тридцать ведер, а то и сорок... да из карьера, поди... отсыпал с машины шофёр... за литр бражки...» – рассказывала моя бабушка Галина Даниловна соседской бабе Нюре, а переменчивый ветерок бросал её слова то в одну сторону от забора, то в другую.

Две косынки белели на солнце, покачивались в шумливом разговоре о песке, о курёнке, пробравшемся в палисад через прореху, о родне, что жила в больших городах.

Всё это я слышал и видел из сеней, поднявшись на цыпочках у оконца, засиженного мухами до тёмного крапа.

Доски на полу были тёплыми, и босые ноги переступали мягко. Пальцами я нащупывал то покрашенную слоями охры шляпку гвоздя, то мышиную щель у стены и, вслушиваясь в старушачьи восклицания, пытался понять, о чём речь.

Сейчас разговор шёл обо мне и моих родителях, о неслыханном для покровцев деле – командировке бабушкиных зятя, дочери и внука, то есть нас, за границу, из которой родители вернулись по весне, а я вынужденно – годом ранее.

– Ну что там? Ну как там? Как люди живут? А привезли что? На машину заработали?

Бабушка, гордясь и хитря, отвечала уклончиво, намёками, а то и вовсе обрывала соседку на полуслове:

– Вот приедут в августе Егора в Москву забирать, сама у них спросишь!

И мне становилось не по себе от жгучего и завистливого интереса всех и каждого не к тому, что папа с мамой в далёкой стране Бельгии повидали или, к примеру, чему я там особенному научился, а к утильному миру вещей.

Родня местная мечтала о подарках – хоть какой малой шмоточке: колготках, авторучке, календарике, а те, кто покровнее, поближе – ожидали отрез на платье, джинсы или что-нибудь из моих чуть ношенных вещей, из которых я вырос, клали глаз на мои заигранные игрушки, даже на полувысохшие фломастеры без колпачков: «мы их одеколончиком заправим, и будут как новые...»

Лишь бы импортное, лишь бы хвастаться потом, что у них вещь не как у всех, что это родня из-за границы привезла, уважила...

Гошкой я был для всех местных, кроме родной бабушки, которая твёрдо напирая на «р», звала меня Егором.

«Слыханное ли дело, – разносила молва по селу, – нашей Данильевны дочка замужем за консулом или как там его... В Бельгии три года жила! Вернулись, приезжали, мальчонку с Данильевной сюда привезли, а сами теперь, поди, на курортах! А Данильевна-то теперь дачница. Зиму-то в Москве квартиру охраняет, а сюда только на лето, да и то ни тот, ни позатот год не была...»

Родители, и правда, уехали в санаторий под Сухуми, а мне было хорошо здесь, в селе, на самом краю Тамбовской области. Бабушкин присмотр здесь, в деревне, был уютным, ненавязчивым, и я, «бельгиец», как меня, припечатав кличкой, назвал троюродный брат Димка, блаженствовал в своей усадьбе.

Я любил деревню, и никакой европейский Брюссель, где любой мой шаг делался только под контролем родителей, не мог тягаться с деревенской вольницей.

Меня привозили сюда на лето и до Бельгии, пока не наметилась у папы возможность этой командировки, пока бабушку не забрали в Москву глядеть за мной. Привезли и сейчас, когда уже окончательно вернулись в Союз. Мне ещё не исполнилось семи, но по осени я должен был идти в школу и жить в большом доме в столице, где отцовское ведомство готовилось выделить

нашей семье отдельную квартиру в только что выстроенном доме. У бабушки Гали я проводил последнее дошкольное лето. Так было решено на семейном совете.

– О! Да он уж встал, мой голубчик-то!

Бабушка, прежде чем войти, гремела входным запором, вынимая колышек, на который была закрыта дверь.

Если бы я очень захотел – вышел бы через крыльцо, но там сложный засов – толстую доску не сразу вытащишь из скобы, да и дверца в палисадник подосела, туго скребёт по полу. Это уж на самый крайний случай. А не на крайний – колотить в окно и кричать.

– Встал, – сказал я, щурясь от солнечно-зелёной муравы в дверном проёме и сунулся было к порогу, – А Димка с Сашкой не прибежали?

– Так Димка в центре живёт. Далеко – мы ж с тобой ходили. Он один без просу к тебе не пойдёт. Теперь в субботу жди. А Сашки, хнырка этого, что-то не видать – поди, у матери сегодня, на больнице...

Я подумал, что бабушка обманывает, и рванулся наружу.

– Куда? – преградила она путь, – Неумытого не пущу. Ну-ка к рукомойнику!

Из сеней было видно баню и изумрудный травяной ковёр, в котором, встряхивая едва проклюнувшимся гребешком, копался настырный соседский курёнок. Он казался ослепительно белым на солнце и в ответ на невидимое бабы Нюрино «цы-ыпа-цыпа-цыпа...» лишь с ленцой поворачивал голову.

– Паразит какой, – вполголоса сказала бабушка Галя, – Кши...

Этот природный ковёр из травы-муравы был бабушкиной гордостью. Она начала выращивать его сразу, как перестала держать скотину и птицу после смерти дедушки Пети. А за те два лета, что не было здесь самой хозяйки, зелень и вовсе на диво разрослась – и бегай по двору хоть босиком после дождя – ног не испачкаешь...

Песок от калитки мы перетаскивали вдвоём до самого обеда, бабушка – по четверти большого ведра, а я – по полному игрушечному, которое терпеливо дожидалось моего возвращения из Европы и Москвы, ржавея на банном чердаке. Там, возле бани, и устроили на какое-то время песочницу – пока не израсходуется весь сыпучий материал на хозяйственные нужды.

– Вот какой у тебя друг, – ворчала бабушка, – как таскать – нет его, а копать – небось сразу примчит.

Сашка, прибежавший по обыкновению чуть ли не с рассветом к своей бабке Нюре и лазивший от неё через забор играть со мной, появился в тот день ближе к вечеру, с отёчным красным веком, за которым не видно было глаза. Сказал, что укусила оса, и день он, действительно, как и думала бабушка, провёл при больнице, где его мамка работала врачом и там же рядом жила в маленьком домишке. Я даже испугался – Сашок был страшный, как циклоп, и опухоль сделала пацана непохожим на себя, будто его голосом говорил совсем чужой мальчуган.

– Смотрит, куда не надо, – взялась судачить бабушка Галя, – Позавидовал, вот и получил. Оса просто так не тяпнет. Смотри, Егор, за своими игрушками, а то заграничных вроде поубавилось. Как бы этот чижик не перетаскал к себе. Пересчитай голубеньких человечков-то.

Гномы из мультика. Их и за первый год командировки, пока я был в Брюсселе, их набралась целая коллекция. Маленькие синие «смёрфики» – улыбчивые, яркие – каждый со своим профессиональным знаком отличия, атрибутом, символом – выстроившись в нарядную шеренгу, стояли на полочке с книжками. Кто-то из них изображал охотника, держа за спиной короткое смешное ружьё, кто-то дудел в жёлтую дудку, кто-то держал трёхпалой лапкой каучуковую поварёшку. Иногда фигурки повторялись, и я брал дубликаты на улицу, затаскивал, ненароком или специально отламывал кусок колпачка, отрывал лопату у землекопа, карандаш у писателя, носик лейки у садовника.

Смурфы. Так, исковеркав, загрузив на барыжно-лавочный лад нежное англо-французское звучание «smurfs», их назвали в рекламе на отечественном телевидении в девяностые годы, когда я уже вырос.

А в детстве, том – далёком и сказочном, раскинувшемся для меня и на восток, и на запад, их давали на брюссельских заправках – одного за каждый полный бак. Очередного гнома услужливо приносил такой же улыбчивый и яркий, как сама игрушка, заправщик, от которого почему-то совсем не пахло бензином.

Едва консульский «Шивёл-Малибу» с советским дипномером останавливался на «Шелле», из будки выбегали двое работников, один из которых шустро подтягивал шланг, а другой спешил намылить лобовое стекло и затем отработанными движениями насухо счищал резиновым скребком сладко пахнущую пену.

Мне было приятно, что нас обслуживают, что именно мне, сидящему на заднем сиденье четырёхлетнему мальчонке, протягивает гномика весёлый дядя в цветастой униформе. И я, сын советского агташе, довольно рассматривал подарок:

«О, художник... Какой разноцветный! Этого родители точно заберут для моей неприкосновенной коллекции, а жаль...»

– Художника на улицу не брать, – категорично сказала мама, – Смотри, какая палитра. И кисточки...

«Ну вот, как в воду глядел...»

Отбракованные дубликаты в итоге приехали в деревню. Тайком я забрал в Покровку и художника. И теперь, как только появилась у бани песчаная гора, игрушки обосновались в ней всем своим гномьим выводком. Уступив занудливым просьбам, я подарил охотника троюродному брату Димке, а землекопа без лопаты отдал соседу Сашке в обмен на лихо скрученную из проволоки рогатку. Зоркая бабушка Галя обмен не оценила и вторую сделку расторгла.

– Копайтесь теперь в песке, чтобы я вас всех видела, и игрушки не растаскивайте. Ишь чего удумали – меняться!

И мы ковырялись в песочнице, роя ходы и подземелья для синих сказочных героев и раскидывали их по разным концам двора, словно играя гномьими судьбами.

В выходные к бабушке приходила двоюродная племянница Нина Наговицына и приводила сына Димку с собой. Бабушка Галя называла Нину интеллигентной женщиной и всякое моё общение с Димой поощряла, а больничного сорванца Сашку считала вороватым и лишь терпела, впрочем, как и всю шепутную детвору, жившую при больнице. Мирилась с его присутствием на своём дворе лишь потому, что Сашкина баба Нюра держала корову и ходить к соседке за парным молоком было – ближе некуда.

– Нинка, а ты что-то пополнела за новым мужем-то... – ехидничала бабушка, а гостя сидела густо-пунцовая от бьющих в цель намёков.

– Да ну вас, тётя Галя! Кормит хорошо.

– Это мёдом с пасеки кормит-то? Медку бы хоть раз принесла тётке... – продолжала бабушка подковырки, пока детвора в лице меня и Сашки с Димкой играла во дворе.

«Бельгиец, бельгиец», – дразнилась ребята, а я, не зная, обижаться мне или нет, лишь хихикал.

– Принесу, тётя Галя. Вот, выкачает – и сразу. Володя, знаете, какой у меня мастеровой – и с пчёлами, и на охоты-рыбалки, и шкурки сам выделывает, и на рембазе у себя незаменимый. Он же слесарь высшего разряда! Димка ему хоть и неродной, а он возится, как со своим – ножик складной выточил на день рождения – с гравировкой...

– Молодец, молодец... – улыбалась бабушка, – Ты держись за него, а то уведут!

– Не уведут. Его собаки охраняют. У нас же теперь свора! И гончие у Володи, и борзые. С утра встаю – а он в вольере...

– Де-ельный. Небось и по-собачьи понимает, – опять съехидничала бабушка, и женщины рассмеялись.

А в песке шла война гномов с красными будёновцами, которых в неистребимой надежде на выгодный обмен приволок Сашка.

– А ну-ка в сени, быстро, все трое! – срывая голос, вдруг истошно закричала Даниловна не то из палисада, не то из избы, и Нина охая, взялась ей вторить.

Мы переглянулись, прислушались, и по каким-то ноткам угадав в женских голосах неподдельную тревогу, подскочили. С песка нас как ветром сдуло – остались на куче только синие и красные игрушки из двух разных миров. Когда уселись на старый тюфяк в сенях, бабушка спешно накинула крюк на дверь.

– Даниловна, мой-то у вас? – барабанила в оконце баба Нюра – а то цыгане...

– У нас, Нюра, у нас...

С другого конца села тянулся, нарастал и усиливался пока ещё слабый, едва слышный звон пополам с грохотом. Далеко – наверно, у самого моста через речку или даже дальше, у кладбища, начинался этот нередкий для здешних дорог немного пугающий и завораживающий звук. В нём смешались кочевой ритм бубенцов, резкие клики возниц, топот конских копыт, тележные скрипы и дребезжание железных ободов на колёсах.

– Цыга-ане! – в полуиспуге зашумело во всех дворах планта.

Старухи потянулись к заборам охранять на всякий случай входные калитки; детвору из числа сезонных городских внучат попрятали по домам, и десятки лиц во все глаза смотрели из окон на проезжающий табор.

Шли двойки, тройки, сплошь гнедых, вороных – ворованных, нет ли – коней, впряжённых в гужевые разномастные повозки. Кибитки, телеги, с кумачовыми верхами, ворохом пёстрых одеял, смуглыми людьми тянулись парадом, прогромыхивали мимо домов, и едва, скрытые пылью, удалялись, как в избах вздыхали с облегчением – «не к нам, значит, постучатся по какой нужде, не у нас попросят воды, не нам попытаются продать какую-нибудь ерунду, заполонив двор пронырливыми цыганятами. Не у нас исчезнут потом куры. Не нас обворуют...»

И когда затихал вдали волшебный звон и вслед за своими матерями, на рысях тянущими таборные кибитки, пробегали последние жеребята – село успокаивалось.

– Сашка! Димка! Егор! Нечего в избе сидеть – идите, идите ...вон в песке играйтесь, солнышко там какое...

И мы радостно шли.

Лишь к вечеру, часто гонимые хворостинами каждый в свой двор, мы расходились смотреть «Спокойной ночи...» или глядеть в сараях, как доит мать или бабка корову и слушать, как звенят в ведре струи пахучего молока. И потом сладко засыпали под звук включенных телевизоров, под «последние известия», под путанную слабую речь угасающего больного генсека.

На последней неделе августа, когда утром проехал по селу очередной табор и скрылся уже вдали за грейдерной пылью, я, с трудом освободив от крюка дверь, вышел на порог и застыл в оторопи. Возле бани вместо моих привычных друзей ковырялся – видимо, заметив раскиданных гномов, – чумазый смуглый сорванец. Чужак. И в этот момент где-то у дороги раздался злой окрик на незнакомом языке.

«Отстал от своих, от таборных, – понял я, – Ишут...»

И на миг стало очень страшно, потому что бабушка Галя была в этот момент не со мной, а в огороде, на самых дальних грядках.

Цыганёнок глянул на меня наглыми глазами, и, на ходу метнув в мураву горсть синих фигурок, маханул через забор. Грубый голос его матери ещё долго разносился над плантом. Очевидно, ругала – то ли за то, что отстал, то ли за то, что побросал добычу...

«Вроде все на месте, – пересчитав, успокоился я, и только дрожь в коленках от пережитого испуга никак не унималась.

А ближе к обеду пришли Наговицны и опять приволок своих будёновцев Сашка.

На следующий день я обнаружил пропажу фигурки художника и до самого отъезда ходил, повесив нос – боялся, что влетит от родителей, но ещё гаже было думать, что у меня всё-таки стащили «смёрфа», причём самого целенького и красивого.

– А я тебе говорила, – с укором поминала свои предостережения бабушка, – что Сашка, хнырок этот чёртов, тебя обворует! И молоко у Нюркиной коровы испортилось – больше брать не буду. Горчит – полынь, поди, жрёт...

– Это, наверно, цыганский мальчик украл, – отвечал я понуро.

– Да потерял ты его просто, надо получше в песке поискать, – твердили в один голос Сашка с Димкой наутро.

За гнома влетело уже в Москве, и вся, за исключением пропавшего гнома-живописца, неприкосновенная коллекция была заперта мамой в шкаф на ключ.

Время шло.

Перемены в стране вознесли моего папу на новую ступень служебной лестницы – не за горами была очередная командировка за рубеж – на этот раз в Америку.

– Квартиру без присмотра оставлять нельзя, – обсуждалось в семье каждый день, пока, наконец, не решили уговорить и снова перевезти в Москву на долгие три-четыре года бабушку Гаю.

– У вас там разве жизнь? Ладно б смотреть за Егором, а то одной-то как! Да ещё и без подселения... Раньше, бывало, хоть с Александрой Семёновной словом перекинешься... – жаловалась она и даже плакала, – без земли, без огорода, без раздолья! Скворечник на девятом этаже, колгота!

Но, собрав самое, по её разумению, ценное в узлы, поехала. И сельская родня, кровная и не очень, думая на перспективу о новых порциях заграничных подарков, растаскивала, разбирала «на хранение» громоздкий скарб: холодильник, мой велосипед, от которого я давно уже открутил приставные колёса, швейную машинку, телевизор, электроплитку...

Честно и от души помогал со сборами лишь Нинкин муж Володя:

– Уезжаете, Галина Даниловна, а жаль. Вот здесь в баночке медку свежего два литра, а это вам на память и чтобы в Москве не мёрзнуть...

И протянул ей лисью шкурку собственной добычи и выделки.

– Как малыш-то? – растроганно спрашивала бабушка Галя, а Володя со смехом отвечал ей:

– Растёт, в игрушки уже играет. Димка ему гномиков, которых Егор ваш подарил, даёт, а он их ручонками хватает, особенно художника с красками любит – он же яркий...

Стучали весь день молотки, обшивая штакетником окна.

И казалось, что дом ослеп или его, как когда-то соседского Сашку, покусали осы, и он уже ничего не видит, не прощается с хозяйкой и не смотрит вслед гружёной серой «Волге», набирающей на грейдере крейсерскую скорость... До самого поворота, резвясь и забегая вперёд, сопровождали машину пятнистые, в приметных подпалинах, собаки из Володькиной своры, а у всех провожавших, кто оставался жить дальше в родном селе, возникло ощущение, что Даниловну просто везут зачем-то на псовую охоту и уже совсем скоро «дачница» вернётся восвояси, весёлая и азартная...

ПОБЕДИТЕЛЬ

1.

День солнечный и морозный. На плацу в такие дни тошно, потому что вчерашней пацанве хочется домой: кому куда, но непременно вон из этого огороженного колючкой гарнизона – на горку, в парк, в лес на охоту, на лыжню, просто пройтись с девчонкой, но, главное, чтобы у себя на родине, на гражданке, свободно, без «шпротов»...

Голос у Бирюкова тоненький, звонкий – словно зимняя пичужка запела, почуяв весну. Он – в первой шеренге, впереди, не по росту – старослужащие выпихнули его в запевалы, чтобы самим отмолчаться в конце строя. Репетиция парадного марша затянулась – нет ни конца, ни края командам, песням, замечаниям и бранным окрикам.

В ногу – не в ногу, шире шаг, выше голову, отмашка, стой раз-два, нале-е-о! Рняйсь! Сырррна!

«Шпроты» – офицеры от лейтенанта до капитана, те, у кого звёзды на погонах мелкие, как на этикетке с баночки рижских консервов, – сегодня лютуют.

Бирюкову тяжело – снова почти не спал, и начала опухать нога – намотав портянку, еле втиснул ступню в сапог, маршировать больно, особенно когда каблук со скрипом вколачивается в замороженную бетонную плиту.

Звук от тысячи подошв, если в ногу идут все роты сразу, – страшный, и кажется, что плац раскачивается от дробного сапожного грома.

А солдатское «ура-а», напротив, слабенькое, немощное, неслаженное, будто не выпалось, не заправилося кашей, будто замёрзло или простыло.

Рано утром дежурная рота вместо зарядки почистила плац: выскребали с разбега широким, как у трактора, совком. Навалятся по двое-трое на рукоять и гонят прямо, пока не упрутся в сугроб. А там уж поодиночке лопатами перекидывают дальше, чтобы куда-нибудь с офицерских глаз долой. Между двумя корпусами-казармами, столовой и штабом должно быть ровно и плоско.

– У солдата-а выхо-одной – пу-уговицы в ряд... – несётся над плацем одинокой щеглиной трелью.

В задних шеренгах – ухмылки «стариков». Они не подпевают – им уже «не положено» – скоро домой... Пройдут весна, лето – и, прощайте, шинели, бушлаты, сапоги...

Весны тяжелее в своей жизни Алёша Бирюков пока не знал.

Осенью думал, что трудно в учебке, но нет, трудно там не было – там он ещё оставался прежним Лёшкой, наивным, жизнелюбивым. Комсомольцем. Собирался служить на линейной заставе, раз уж призвали в погранвойска – готовился морально и физически, на лыжах бегал вместе со всеми, на занятиях научился отличать следы медвежьи от следов нарушителя, который когти к унтам прикрепил. А тут вмиг испортил старания весельчак-сержантик – секретарь солдатского ВЛКСМ. Ну зачем этот болтун, задушевно всё повыспросив, потом брякнул в штабе о том, что Бирюков до армии работал чертёжником?! Земляк, называется, москвич... Выслужиться, полезность свою перед начальством выказать? Оно и понятно: в школу КГБ собрался комсомольский вожак, побыстрее в столицу, и, видать, ради хорошей характеристики Бирюкову со штабом и подсуропил. Откуда такие люди берутся? Им себе, главное, хорошо сделать, а о людях они нисколько не пекутся. Вожак, лидер, секретарь... Тьфу! Дерьмо-человечка!

Какой же завистью и болью наполнилось Лёшкино сердце, когда этот беспринципный карьерист без стеснения стал разглагольствовать о своих планах:

– Комсомол скоро распустят, а КГБ бессмертно. Так бы мне только осенью на дембель, а на сборы в ВШК уже в мае обещали вызвать. Сборы там, экзамены, сечёшь? Представляешь, в мае в Москве уже буду! В увал домой буду ходить! Домо-ой!

«Москва! Дом! Гражданка!» – думал Лёшка, глотая подкативший к горлу колючий комок.

Жутко захотелось вынырнуть из казённой, пахнувшей гуталином и оружейной смазкой реальности, в которой нет ни времени, ни угла, чтобы уединиться, помечтать, почитать книжку... Здесь, едва возвращалась учебная застава с лыжного выхода в казарму, новобранцев начинали дёргать, понукать, строить в ряды, угнетать уставом и неуставом.

«Москва!» – снилось ночью сладко и приятно.

– Подъём! – тараном врбался в грёзы дневальный.

Деда в гарнизонной роте, к которой Лёшка в итоге оказался прикреплен после учебного пункта, были уверены, что в штабе молодой чертёжник спит и лопаёт офицерские пряники, потому что всего за пару месяцев успел «отожрать морду». В столовой говорили, что если смотреть со спины на его бритый затылок и худую шею, когда жуёт, – видно, как оттопыриваются за ушами и ходят вверх-вниз набитые кашей щёки. «Старики» отчасти были правы. Бирюков потолстел – причём некрасиво, только в поясе и в щеках. Пряники в кабинете майора Пустовойтова, хоть Лёша и старался деликатничать – брал в отсутствие хозяина кабинета, как ему самому казалось, лишь по одной штуке в день – исчезали быстро. Как-то раз майор заметил и Бирюкова отругал, а Лёшке было невдомёк, что Пустовойтов покупает чайную снедь в отрядном «чепке» на свои деньги и угощает просто из воспитанности – считает невежливым чаёвничать в одиночку в присутствии голодного солдата.

Так или иначе, в ротной казарме спать Алексею по ночам не давали. Доходило до того, что если дневальным стоял кто-то из «дедов», подходили к бирюковской кровати каждые полчаса и лупили сапогом в коечный каркас, и тогда от удара, от долгого тряского скрипа железной сетки парень в испуге просыпался, а садист-дневальный ядовито шипел: «Чё, Бирюков, не спишься?» И быстро уходил обратно к тумбочке.

В общем, спать, или, как здесь говорили про сон в неполюженном месте и в неполюженное время, – «щемить» – Лёша начал в штабе за топографическими картами, едва оставался в пустовойтовском кабинете наедине с пряничным запахом, бьющим из теперь уже запертого несгораемого шкафа. В конце концов в роте его начали поколачивать, правда, аккуратно – в лицо не целили и синяков не оставляли, а сдачи он не давал из страха, что тогда вообще покалечат или он сам кому-нибудь поставит отметину и угодит в дисбат. Он лишь делал злое лицо и закрывался руками, когда намечались очередные разборки и побои. Ну а в штабе каждый день поджидала другая «засада» – лютовали офицеры, заставляя исправлять испорченные сонными вычерками копии карт. Штабисты как раз думали, что в казарме Лёшка только тем и занимается, что спит, – оттого и «гладок». Командиры-начальники нервничали – был аврал, весь отряд спешно готовился к окружной весенней проверке и приезду генералов из Питера и Петрозаводска. Высокие чины, как говорили, являются сюда каждый год вместе с долгожданным холодным солнцем, разгоняющим полярную ночь, и наступает сумасшедший дом – двухнедельное северное утро: подъемы по тревоге, суета, муштра, марш-броски и стрельбы. Как раз в канун проверки Бирюкову пришла посылка от мамы – со снедью и крестиком, и «деды» успели перехватить ящик в каптёрке. Заявили молодому, что надо делиться, что вафельный торт по ошибке съел их ротный старшина по фамилии Бурима – когда вскрывал и проверял ящик на предмет запрещенных продуктов, что копчёная колбаса за время почтового пути якобы протухла, а чай и сигареты, которые в коробку засунул, по всей видимости, дедушка Паша, – а дедушка побывал за свой век и в армиях, и в тюрьмах и потому знает, что именно нужно слать мужикам за забор, – забрали просто так. Как дед догадался, что внук Алексей

тут начал курить – сигареты положил? Положил, а их забрали. Но крест – отдали безропотно. Да, делиться надо, и с ним поделились... его же крестом и присланными из дома сладостями. Досталось полкоробочки монпансье. После отбоя напихал леденцов в рот, не успев их даже рассосать, и отрубился, едва прислонив голову к подушке. И в ту ночь его никто не будил, лишь утром дежурный по роте из того призыва, что на год старше – как раз из «дедов» – лишь недовольно сказал:

– Бирюков, чё за конфетки на простыне? К заднице не прилипли?

На что Лёша, смутившись и ничего не ответив, быстро отодрал от белья синие и красные полуссосанные монпансье и незаметно сунул в рот. Только ворс от белья на них налип – потом отплёвывался.

Синими и красными, под цвет леденцов, были и стержни авторучек, которыми Бирюков чертил в штабных картах флажки, стрелочки, линию контрольно-следовой полосы и расположение нарядов типа «секрет». Надо сказать, у него получалось не очень аккуратно: то квадратик штаба забудет заштриховать, то вместо нашего, красного, пограничного столба-флажочка нанесёт на карту синий, финский.

– Отдал чужому государству родную территорию, диверсант, – мрачно пошутил майор Пустовойтов, вдосталь наматерившись и в шутку наобещав чертёжнику гауптвахту.

А уж когда Лёшка стал хронически недосыпать и толстеть не столько от пряников, сколько, наверно, на нервной почве – мама писала, что так бывает, – красно-синяя граница и вовсе уплыла в сонную глубину кольских озёр. Задремал, а когда очнулся – плавная дуга на всю карту!

«Полный блицкриг!» – скорее удручённо, чем со злостью, оценил труды Пустовойтова.

Порог кабинета подполковника Чалковича Лёшка обивал долго, и очень трудно было объяснить этому унтерского вида замначштаба всю невозможность своего дальнейшего пребывания в гарнизоне. Молодой боец не мог во всех подробностях говорить о дедовщине, а подполковник делал вид, что не понимает, почему Бирюкову «здесь нет житья». Рассказать всё как есть – нельзя, потому что прослыть стукачом среди солдат считалось хуже смерти. Вот о смерти-то своей возможной Лёшка Чалому и намекнул.

Тот ответил по офицерскому обычаю грубо, наорал и в завершение своего монолога посоветовал бойцу крепнуть духом и продолжать служить Родине. Но через неделю у Лёшки от недосыпа вдруг стала пухнуть нога, и как раз к приезду генералов из округа, после очередной репетиции торжественного марша, ступню разнесло так, что солдат не мог натянуть сапог и лёг в санчасть. Приказ срочно собирать вещмешок поступил, когда Бирюков в казённых тапочках поверх бинта дожёвывал блины, оставшиеся от завтрака, и чистил картошку в маленькой уютной столовой гарнизонного стационара. Его назначили рабочим по кухне – потому что отлёживать бока на больничной койке молодому не положено.

Лёшка победил.

Хотя, может быть, и не он, а просто смилостивились высшие силы. Комсольский значок носить уже было необязательно, потому что комсомол прогнил и разваливался. Зато мама прислала Бирюкову крестик, и с ним он стал чувствовать себя в армии немного спокойнее. Как бы то ни было, едва отдали Лёшке из маминой посылки крест, только успел он запихнуть эту вещицу под камуфляж, Чалый, как заглазно называли Чалковича, понял наконец, что держать Бирюкова чертёжником-картографом при штабе – себе дороже, и отправил с группой остальных «никчёмных» в приграничные тылы.

Что-то всё-таки сдвинулось на небесах – Лёшкин ад подошёл к концу, и шестнадцатая застава с красивым позывным «Гербовый» распахнула парню райские объятия...

Изредка молясь на чудодейственный алюминиевый крестик из маминой посылки, Бирюков так и не узнал, с каким жаром Пустовойтов за многими стаканами чая, за пряниками, за коньяком и колбаской из офицерских продуктовых заказов уговаривал Чалого не доводить

солдатика до греха, а отправить «это чмо» туда, где поспокойнее – авось и стерпится, и перед глазами маячить не будет, и как-никак до дембеля дотянет.

2.

– Бiryюков!

– Я! – ответил Лёшка после небольшой паузы, совсем короткой – несущественной, протитительной.

Старшине заставы этой заминки оказалось достаточно. Глаза посветлели, как у варёного сига, и под красноватым веком задрожала в частом пульсе недобрая жилка. Оглядел рядового внимательно: пробуравил зрачком, нахмурился, поискал, к чему придраться.

«О! Копать-колупать!» – седоватые, с табачной прожелтью, усы ощетинились в усмешке – старшина высмотрел в молодом солдате полезный для дела изъян.

– А ты пухлый какой-то, Бiryюков, – начал он издалека, – При штабе откормился?

– Никак нет, товарищ старший прапорщик...

Бiryюкову больше сказать нечего. Знал сам, что потолстел за первые полгода, и был тому не рад – смеялись над ним, подтрунивали, издевались. Что так бывает от нервов – сослуживцам, конечно, невдомёк.

– Бiryюков, – продолжал старшина свою мысль, – тебе бы с такой ряхой поваром пошло. А то Изюмов у нас один. Три месяца с кухни не вылезает, ни выходных, ни роздыха, да и службу настоящую пограничную уже забыл. Сменщика себе просит.

«Кашевар Изюмов» – улыбнулся Лёшка мысленно и представил, как в своё время, наверно, уговаривал рядового Изюмова старший прапорщик Грач: «Тебе бы с такой сладкой фамилией да в повара...»

– Ну как, пойдёшь? – резко потребовал ответа прапорщик, и солдат догадался, что теперь с вариантами не густо – всего два: не вылезать отныне либо из кухни, либо из выгребной ямы «холодного». Водились у старшины такие «любимчики» – вечные ассенизаторы – виноваты были всегда и по любому поводу.

Кухня – не совсем то, о чём Лёшка мечтал, но всё равно здесь, на тыловой заставе близ рыбацкого посёлка – рай по сравнению с гарнизоном. И он понимал, что отправив сюда, его пожалели, как с некоторой долей презрения штабные чины могут пожалеть «духа», «тормоза», «инфантила».

Путь от кухни до «холодного» короткий – напрямую через спортгородок. От брусьев, турника и прочего свежевыкрашенного железа сильно несло растворителем – перебивало сразу все запахи: и кухни, и туалета, и собачьего питомника со свиным «подхозом» вместе взятых.

Лёшке уже рассказали, что зимой «холодный» чистить дольше, труднее физически, но дышится легче и проще отмываться – пачкаются лишь сапоги. «Сталагмиты» отдалбливают ломом и поднимают наверх ведра с почти не пахнущим крошевом. А как бывает летом, Бiryюков увидел сам – когда зашёл по нужде, а снизу, из «гуши событий», вдруг донеслись голоса. Выяснилось, что в жару пролётчики-«черпальщики» утопают в червивой жиже по колено, спускаются туда в рабочем рванье и резиновых бахилах, а то и в костюмах химзащиты, сгребают нечистоты лопатой или прямо ведрами, подавая их наверх через задний люк «ловцу». Если у старшины хорошее настроение, он, так уж и быть, выдаст противогазы. Если плохое – кричит: «нюхайте!», а бахилы подсовывает негодные: или лопнувшие, или без завязок – чтоб сползли с ног и утопили в дерьме. После такого наказания – стирка в четырёх водах и день-два подначек от сослуживцев. С виду «холодный» – это просто кирпичная постройка, внутри которой дощатый пол с длинным помостом на три дыры. На стенах фанерные ящички с подтиркой – резаной газетой, страницами из какой-нибудь книжки, тетрадными листками.

Глянешь вниз – а оттуда гуденье сквозь хобот противогаса: «поаккуратней», мол, «смотри, куда льёшь». Часто бывает, что верхний, кто зашёл по нужде, ржёт и норовит пометче прицелиться, а нижний, черпальщик, увёртывается, давя бахилами опарышную гуцу.

«Лучше уж кухня, чем угодить Грачу в отряд „любимчиков“» – подумал Бирюков. Всех тонкостей заставского быта он пока не знал, но интуиция работала безошибочно.

– Я согласен быть поваром, товарищ старший прапорщик!

– Вот и ладно. Пойдём на склад, получишь поварское, ну и вперед, на кухню. Изюмов скажешь так: не научит тебя за неделю готовить – пойдёт на «холодный». Для начала ловцом.

Так началась Лёшкина служба на заставе с красивым позывным «Гербовый», с видом на лысоватые сопки и арматурный скелет досмотровой вышки над железной дорогой.

Изюмов, одичавший у широкой казённой плиты, быстро и с радостью передавал уменье:

– Мясо, горох, потом лук и картошка – и пусть кипит до готовности. Всё получаешь утром на складе ПФС. Это что касается супа. Ещё варим щи, борщ, рассольник и харчо.

– Ага, – запоминал новый повар рецепты, колдуя тупым столовым ножом над картофелинами.

– К обеду из посёлка привозят хлеб. Несколько буханок сразу берут домой офицеры. Сосчитаешь, сколько останется белого и чёрного, чтобы всей заставе потом хватило, – инструктировал Изюмов.

Хлеб шикарный, гражданский – по любому, первый сорт, а не «глина» с гарнизонной пекарни.

Деды – которые на год раньше призывались – требуют буханку целиком, сами за столом отрезают со всех сторон «горбатые» – хрустящие горбушки и корочки, а оставшуюся срединную мякоть отдают обратно в раздаточное окно: «на, режь остальным!»

Изюмов не дед, он – «фазан». Призывался весной, на полгода раньше Лёшки. А все осенние, и духи, и деды, – зовутся «пингвинами». Вот такой здесь оказался почти детсадовский птичник. «Пингинов» старых, то есть, дедов – человек семнадцать, и Лёшкиного призыва, молодых, духов, – пятеро: Ника, Шарыч, Кононенко, Свист, ну и теперь ещё он, ...Биря.

Никаноров – водитель «Уазки», развозит наряды по местам службы и ездит за хлебом, Шаров – свиляр в заставском подсобном хозяйстве – «подхозе», Кононенко вечно в рабочей группе на подхвате у старшины, – неизвестно за какие дела но, уже без пяти минут «любимчик» и кандидат в ловцы вёдер на «холодном».

Свистков – в зиму кочегар, летом – то на «палке», то в поезде; а Бирюков вот теперь – повар, в белоснежной курточке и смешном колпаке. Все при деле.

С утра оба повара пошли за очередной суточной нормой провианта. Лёшка накладывал совком пыльный, усушенный в кость урюк из мешка – на компот. Сверился с весами. Всё верно. Изюмов кивнул и навалился на рычаг гигантской морозилки, в которой пестрели синими печатями куски мосластой говядины.

– Руби и взвешивай, – дал отмашку наставник, – с костью руби.

– Да здесь и мяса-то нет, – заметил Лёшка, – Как будто кто-то всё срезал.

– Офицеры иногда домой берут...

– Ясно. Всё как всегда и везде.

Навесив на складскую дверь замок, потащили цинки с крупами и сахаром, ведро картошки, урюк и коровий мосол. Под Изюмовским халатом топорщились заткнутые за ремень банки со сгущёнкой – старший повар был обвешан ими, словно гранатами, и попёр, как на амбразуру, на группу Лёшкиных дедов. Капа, Паньч, Валя и Мазута – из самых лихих: Коля Копылов, он же Капа – вологодский, Панов – из Питера, Валя-Валинайтис – мог бы уже, покачав права, легко свинтить в свой Каунас, но почему-то, хоть на дворе уже август девяносто первого, дослуживал здесь, в Мурманской области, до дембеля. Мазута – самый гнусный, как

будто перепутал заведения и по ошибке вместо белгородской тюрьмы попал в армию за полярный круг. Короедов была его фамилия. Тоже Лёшка. Тёзка.

– Изюм, дай сгущака. Кофе и так можно сварить, – поваров обступила голодными волками лихая четвёрка. Руки у всех в карманах, пряжки ременные согнуты по «стариковской» моде и воротники расстёгнуты до пупа. Молодым «пингвинам» так ходить запрещено. Наказание – удар в грудь, «в душу». Под поварской курткой Лёшкин воротник наглухо застёгнут на крючки, карманы зашиты – ещё в гарнизоне кто-то из ротных дедов заставил заштопать. А Изюмов – «фазан», и никто из «пингинов» старшему повару не указ. Не их, так сказать, «юрисдикция». Изюм здоровый и без чувства юмора – оскалившись, замахнулся говяжьей костью и вскользь впял Мазуте по корявой, похожей на сухой пенёк башке.

– Сгущёнки нет, – повторил несколько раз, расчищая говядиной дорогу к кухне. Лёшка услышал, как Мазута выскрипывает им в спину полублатные угрозы. Фамилия Короедов – верная, в точку!

Кофе – это цикориевый напиток. Без сгущака пить невозможно. Гадость. Настоящий, бразильский, здесь пьют только офицеры, и порой из дежурки на всю казарму густо веет дразнящим кофейным ароматом.

Как любит говорить Грач:

– Опять Кабаков накофеинился и паяет диоды с триодиками.

Начальник заставы Кабаков – засидевшийся в майорах заядлый радиолюбитель. В его возрасте обычно либо уже ходят в генералах, либо зарабатывают цирроз на заслуженной пенсии.

Старший прапорщик Грач недолюбливает начальника и за его хобби, и за равнодушие к материальной стороне жизни. Та дохлая говядина, что томится в морозилке, приехала на заставу только со второй попытки. В первый раз «шишигу», снаряжённую за продуктами, сопровождал в комендатуру лично майор. Про мясо он просто забыл, потому что очень увлёкся починкой японского телевизора в кабинете у коменданта. Тогда, чтобы накормить солдат, Грач, матерясь, заколол свинью из заставского «подхоза», а за говядиной в следующий раз напросился ехать сам.

Из офицеров на заставе – ещё Толстый и Гнутый, и это не фамилии, а фигуры: тучный замполит капитан Рудской и сколиозный зампобою капитан Антонов.

Гнутый – тунеядец: никакой спортивной и боевой подготовки на заставе нет. Говорили, что он уже подал рапорт об увольнении и ждёт, пока бумага прокрутится по инстанциям и вернётся с подписями. Решил пойти мастером в кооперативный автосервис – там денежнее.

Неделя кухонной стажировки закончилась. Изюмова, снявшего, наконец, грязное поварское, запихнули в досмотровый наряд: несколько раз за белую летнюю ночь бегать на вышку и проверять порожняки – не прячется ли в железных трюмах полувагонов нарушитель государственной границы. А между досмотрами – мыть на заставе полы. Изюмов и рад, и не рад. Он мечтал о том, что его назначат в наряд в пассажирский поезд или на «палку» – шлагбаум на автодороге – проверять документы в автобусах. Там полно гражданских, щедрых на сигареты, и ещё – там девушки.

У Лёшки первый самостоятельный день на кухне. Деды суют морды и руки в раздаточное окошко:

– Биря, больше мяса!

– Бирюков, мне «горбатого»!

– Биря, мне компот без «нипелей».

На всех не угодишь. Они пожрали и покидали миски в отдельный поддон через второе окошко – оно для грязной посуды. После обеда Лёшке придётся долго выгребать из мисок объедки, которые потом отнесут в вольер собакам, и мыть всю посуду, плиту и полы.

Своему призыву Лёшка виновато наливает пустой суп, кладёт постные макароны уже без подливки и от души наваливает в кружки «нипелей» – разваренный лохматый урюк.

Ребята недовольны, но не ропщут, относятся с пониманием. В течение недели фамилия нового повара трансформировалась трижды: сначала из Бирюкова в Бирю, потом из Бири почему-то в Берию, и закончилось всё звучным «Беркут». Да-да, всё в духе детсадовского птичника. Заполночь Лёшка заканчивает мытьё и уборку. Несмотря на дармовой сахар и сэкономленный сгущак, на кухне совсем не сладко.

Усталый, плетётся в казарму и лезет на своё место во втором ярусе. Снизу пинается в матрац Мазута Короедов и скрипучим голосом сыпет проклятия. Его сонно одёргивает Капа-Копылов с Вологодчины:

- Отстань от Беркута. Дай ему выспаться. Ему завтра вставать раньше всех – кормить нас.
- Днём на кухне выдрыхнется, – желчно ворчит Мазута.

Сквозь плотные одеяла на окнах просвечивает полярный день. Народ с матерками почёсывается – жварят комары...

Лешке не спится: в голову лезут кошмарные картинки недавнего, уже армейского, гарнизонного прошлого.

Лёшке кажется, что не успел он и недели пробыть в новом коллективе, как у него уже появились и покровители, и недруги – это нормально, это жизнь. Надо бы Капу прикормить – мяса ему что ли побольше завтра в суп кинуть... Заступается – заслужил добавку. Опять пинок в спину через тонкий матрац. Это злобствует Короедов:

- Берия, не храпи, а то портянку на рожу накинута...

Вздыхая, повар поворачивается на бок, придавливая толстой щекой жёсткий бок подушки, и всё...

- «У солдата вы-ыходной...» – будто силится вытянуть высокую ноту привязчивый комар.

3.

Утром неожиданно приехал некто капитан Атрощенко из контрразведки погранотряда – «особист». Ходит налегке, в коричневых ботиночках, когда как все строевые офицеры парят ноги в хромовых сапожных голенищах. Подмышкой у капитана – папка; в светло-зелёных маленьких глазах – кажущаяся глуповатой профессиональная хитреца. Бирюков и не заметил, не услышал, как капитан возник в проёме раздаточного окна.

– Новый повар? – глазки задорно моргают, а нос втягивает кухонные пары, – Ммм, вкусная, наверно, каша? А налей-ка мне кофейку! Сгущёнки старшина достаточно выдаёт?

Лёшка слышит своё частое сердцебиение. Накануне вечером деды выцыганили весь сгущак. Сердце стучит в груди, стук отдаётся эхом по длинному коридору заставы. Ближе, ближе... Нет, слава богу, это не сердце, а торопливое цоканье каблучков Грача по мраморному полу столовой.

– Здравь жлаю, тащ капитан! – говорит прапор подобострастно и, жамкая «особисту» руку, добавляет – Сергей Иваныч, дорогой наш гость...

Последняя фраза повисает в воздухе, будто Грач хотел закончить её словом «незванный», но вовремя осёкся.

- Пообедаете? Бирюков картошечки нажарит, а? Как? Своя картошечка, «подхозная»!

Атрощенко раздосадован, что ему не дали поболтать с солдатиком-новичком без свидетелей:

- Конечно-конечно, Игорь Матвеич. О чем речь!

На мгновение Грач встречается с Лёшкой взглядом и успевает, мимолётно прикусив под усами кончик языка, тем самым предупредить, чтобы повар помалкивал.

О чём? Да обо всём. «Новенький, мол, ничего не знаю», – усы старшины красноречивы. Он, возможно, догадывается о том, что цикорий сегодня без молока.

В столовой опять топот и хромовый скрип голенищ – о необъявленном визите доложили Кабакову, и тот тоже спешит с приветствиями. Зовёт особиста и старшину в свой кабинет пить бразильский растворимый порошок.

Все офицеры между собой по имени-отчеству. Лёшку отделяет от них стена с двумя окошками. Прямого хода из столовой в кухню нет – надо выходить через дежурку, огибать весь длинный заставской корпус и, минуя спортгородок, стучать в дверь, которую Бирюков запирает теперь изнутри – чтобы часом не занырнули Мазута с Валинайтисом. Вчера вот зашли, как на грех. Интересно, доберутся ли сюда офицеры?

Позже днём выяснилось, что Атрощенко прибыл вовсе не по кухонным делам. Конечно, капитана интересовало всё – так, сразу, мимоходом, заодно... И в кастрюлю нос засунет, если что, и нужником солдатским не побрезгует, но основная цель открылась ближе к обеду. Бытовую комнату с парой столов, утюгом, мотками ниток, зеркалом и скамьями переоборудовали на время в кабинет особого отдела. Даже дверной проём то ли для пущей секретности, то ли для уюта затянули одеялом, как занавесом. Каждого солдата капитан вызывал в этот будуар отдельно, задавал вопросы вполголоса и отвечать просил потише, чуть ли не шёпотом. Дошла очередь и до Беркута. Кликнули через окошко, и пришлось выключать недоваренный суп, чтобы не выкипел, скидывать поварскую куртку, запирает дверь и обходить вокруг.

– Ничего не говори! Дедовщины у нас нет... Обмундирование у всех новое... – как гусаки в деревне, шипели ему вслед деды.

«Конечно, нет дедовщины. Вот в гарнизоне – была, а здесь по сравнению со штабной ротой – пансионат...»

Атрощенко, видимо, решил прикинуться придурком. Бирюкову стало смешно, когда капитан обратился к нему по имени и вдруг залопотал что-то про хоккей.

– Лёшка, а ты за какую команду болеешь?

Дурной вопрос – так на гражданке интересуются гопники перед дракой: «дай закурить» или «за какую команду болеешь». Да ни за какую... Здоров, некогда болеть...

Бирюков терпеть не мог ни футбол, ни хоккей.

– Да я не очень интересуюсь, тарсь капитан...

Интересно, что там дальше-то у контрразведчика припасено для наведения мостов с личным составом...

– Камуфляж вроде бы неплохой, новый ещё, да?

– Так точно.

– До «Гербового» где служил?

– В штабной роте.

– А не припомнишь ли ты такого, – вдруг уж совсем тихо и, отчего-то сразу посерьёзнев, спросил «особист», – чтобы в гарнизоне кому-нибудь из твоих сослуживцев со склада старье выдали вместо новой формы?

– Никак нет, – слишком, наверно, быстро и громко выпалил Бирюков.

Напоминание о штабной роте отозвалась у него тупой болью где-то в печёнке, и образ прапорщика Буримы, жующего торт, замаячил перед глазами.

– А бушлат свой ты проворонил, пока в санчасти лежал, – говорил улыбочивый Бурима на прощание, – Надо было в каптёрку сдать на хранение, мне под роспись. А ты что? А ты на вешалке в роте оставил. Сам виноват. Спёрли, значит... Не дам, не дам бушлат. На заставе выдадут какой-нибудь.

На заставе Грач, проверяя по списку амуницию новопривывшего, для порядку поартачившись, действительно выделил Лёшке промасленное рваньё из числа списанных курток, но потом – раз уж сам парня поваром поставил – нашёл ему бушлатик поновее, чтобы парень

не тёрся в грязном возле продуктов. Хоть на склад сбегать, хоть на перекур выйти – а верхняя одежда нужна.

Заполярное лето короткое – даром, что светло, – сегодня жарко, а завтра и захолодать может. Как тут без бушлата?! Чтоб ещё замёрз солдат, захворал? Нет уж. Солдат должен быть обут, одет, накормлен, чтобы мог и службу нести, и в хозяйстве работать...

Еще Грач понимал, что ставить на хозработы одних «стариков» – глупо, потому как толку не будет, а вот старослужащего назначить старшим над бригадой молодых – самое то. Проверено временем. И дедовщину до определённых пределов, в отличие от того же замполита Рудского, старшина одобрял и поддерживал.

– Нет. Выдавали все новое, – спокойно подтвердил Бирюков.

На том доверительная беседа и закончилась, и лишь вслед, без особой надежды, капитан Атрощенко бросил дежурную фразу:

– Ну если что-то вспомнишь или ещё каким макаром захочешь помочь, сообщай...

– Так точно! Разшите идти?

– Иди, иди. А то помогал бы – в Высшую школу КГБ порекомендовали бы тебя.

«Ага, – подумал Лёшка, – так я тебе и согласился стучать...»

Занавес из одеяла, сыпанув пылью, заслонил от Бирюкова внимательное лицо «особиста» – всё, экзамен пройден. Теперь на кухню – чистить картошку офицерам на жарёху.

Коридор; справа умывальники и сушилка, из которой затхло несёт портянками и тапочками; дальше дверь в офицерскую дежурку, потом – в солдатское спальное; а налево – выход через коммутаторную, где маячит силуэт дежурного по заставе. Кто там сегодня с красной повязкой? Сержант Кеклицев? Дальше по ходу – веранда. На дощатом полу банки с гуталином, щетки и пепельницы – пара трехлитровых жестянок из-под комбижира, всё в дыму – это курилка, и здесь гужется толпа солдат, и каждый уже по второму или по третьему разу спрашивает, что на обед, что на ужин...

Осталось обогнуть длинный корпус из силикатного кирпича: вот они – турник, брусья, лесенки... Уже не так пахнет краской. Теперь все запахи перешибает хлорная известь, которую накидали в яму «холодного» очередные счастливики.

Пол-первого. Обед для офицеров почти готов. Салат из капусты и тёртой моркови, суп солдатский, гороховый; на второе только ещё начала шкварчать наспех нарезанная толстыми кусмьями картошка.

Едят, треплются не о службе – о чём-то постороннем, гражданском, чего Лёшке не видеть ещё полтора года: о рыбалке, отпусках, поездках на юга. Майор Кабаков пытается вставить что-то про диоды... Со вторым блюдом что-то не так: картошка, оказывается, сыроватая.

Встают к раздаточному окну темно-зеленой кучкой:

– Бирюков, ты бы её с лучком!

– С поджарочками, с поджарочками...

– Маслица надо было побольше.

Грач тепло подмигивает Лёшке хитрым глазом.

– С поджарочками, с поджарочками, – токует «особист» Атрощенко. По его нервному маленькому подбородку стекает капелька масла...

Дружно уходят – наверно, пить «бразильский» к начальнику в кабинет...

– Спасибо...

Лёшка скидывает недоеденную картошку в бак с помоями – подхозным свиньям сегодня будет сытно...

Теперь накормить Кеклицева. Сержант подменился, временно передал повязку и спешит поесть, пока не попёрла в столовую основная масса. Он из Еревана, но русский. Хвастливый, шумный, в каждой бочке затычка... Очень любит быть в центре внимания.

«Образцовый сержант» – всерьёз считают Кабаков, Толстый и Гнутый.

«Хитрован», «балаболка», – почему-то уверены Грач и все солдаты.

Служба на «Гербовом» потекла для Лёшки размеренным спокойным ожиданием очень нескорого дембеля. Все его мысли, что бы он ни делал, упирались в воспоминания о доме и аморфные мечты о том, чем он займётся, когда отслужит и приедет в свою такую желанную красавицу-Москву. Может, и правда, поговорить ещё раз с особистом, наобещать что-нибудь... «КГБ бессмертно» – вспомнились слова вожака гарнизонных комсомольцев. Наверно, уже экзамены сдаёт, в увал домой ходит. А комсомол-то распустили – самоликвидировался союз ленинской молодёжи...

Неделя прошла, и немного разочарованный Изюмов вновь принял ключи от кухни и склада.

– Бирюков – поездной наряд, – выкликнули на боевом расчёте в тот же вечер.

Повезло!

4.

Сергею Кеклицеву нравится ощущение своей маленькой власти над людьми. Власти на час. Всего на какой-то час, пока кандалакшский поезд в два-три вагона, непременно с прицепленным московским, неторопливо и аккуратно продвигается вглубь погранзоны.

Местные и те, кто часто ездит, знают, что в Ёне застава и будет погранконтроль – держат документы наготове. Наряд – когда трое, когда четверо погранцов – вламывается в дверь, которую открывает проводница, и сразу, пока поезд еще не тронулся из посёлка, приступает к делу. В паспортах чаще всего кандалакшская или ковдорская прописка, и документы суют уже открытыми. Кто-то отдельно предъявляет командировочные листки – Кеклицев в них мало что понимает последнее время: откуда, кто, куда, зачем, на какой срок? Раньше было проще, печати и названия организаций однообразнее: министерство – инженер – в горнообогатительный комбинат – на неделю. Всё. Теперь, с недавних пор, едут одни менеджеры: из кооператива «Феникс» – в кооператив «Апатит», из фирмы «рога» в фирму «копыта», дата открыта, печать без герба – может, сам «менеджер» такую и вырезал. Попадается пассажир с пачкой пустых бланков:

– Я командировочный.

– Где удостоверение?

– Сейчас...

Бесстыдно заполняет листок на глазах у наряда, достаёт печати и, дунув коньячным перегаром, шлёпает прямо на плацкартном столике.

– Я и есть директор.

Директор чего? За год, с лета девяностого года, как началось и всё нарастает в стране что-то непонятное, слово «директор» измельчало, обесценилось, размножилось, как на копире.

Командировочное готово. Всё верно, всё в соответствии с новыми реалиями – не придраться.

– Счастливого пути!

Вот в следующем купе дама вырывает у младших наряда, рядовых Бирюкова и Никанорова, свой паспорт.

– Нечего смотреть те страницы! Всё здесь.

Тычет алым ногтем в фотографию и прописку. Думает, солдатикам любопытно, сколько раз была замужем, и она прикрывает ладонью штампы, отбирает, тянет, чуть не рвёт главный документ гражданки СССР. Или уже СНГ, или чего там ещё – не понять...

Кеклицев встречает:

– Женщина, на выход с вещами! Будете объяснять начальнику заставы, почему вы препятствуете проверке.

У старшего суровое, как он думает, лицо, металл в голосе и по три лычки на погонах. Зачехленный штык-нож на ремне.

Пассажирка что-то соображает в иерархии. Безучастно отдаёт сержанту паспорт. На фотографии – юная красотка. В жизни дама явно подзавяла и постарела – «истаскалась». Кеклицев быстро пролистывает страницы, сверяя серию и номер. Это стандартная процедура, так учили.

Отдаёт документ хозяйке: «счастливого пути».

У неё в графе «семейное положение» стоят два штампа: о том, что заключён брак и о том, что, года не прошло, – уже прекращён. Разведёнка... Со стороны сержанта никакого любопытства – навыв, служба, намётанный глаз.

За окнами покотился-поехал щитовой фасад Ёнской станции. С торца – закрытый на ночь магазин с пряниками. Замок в пол-двери. «Утром, когда вернёмся из камендатуры, – купим по кульку: мятных, свежих, как дома...» – думают Беркут с Никой.

Застучали колёса, дно вагона протяжно скрипнуло – состав набирает скорость. Наряд идёт дальше – туда, где на нижней полке курочками нахохлились девчонки.

Ребята улыбаются во все рты, перелистывая хрусткие новенькие странички паспортов. Студентки из Петрозаводского «педа» едут на каникулы домой. Бирюкову и Никанорову интересно, давно не видели девчонок так близко – а те, источая сладкий морочащий аромат духов, хихикают, кокетничают, но в размалёванных глазах опаска. Ну а Кеклицеву, похоже, уже всё приелось. Или нет? На первый взгляд, девчачьи прелести его совсем не волнуют.

«Не спешите надевать на себя хомут, поживите так. У вас на гражданке их будет море – этих баб!» – увещевал уставший от семейной жизни, заеденный женой и двумя дочерьми майор Кабаков – начальник заставы.

Сержант его услышал, внял. Девчонки-пассажирки останутся здесь, на северо-западе, а Кеклику на дембель, в Ереван, а может, соберётся и рванёт пытаться счастья в Москву, где, как ему думается, обновлённый мир распахнул перед его поколением уже все мыслимые двери. Миллион возможностей – лови удачу за хвост! Сможет?

Служить осталось месяца четыре. Мог бы свинтить и раньше как гражданин другого государства, рапорт подавал, но начальство артачится, не подписывает. Потом он уедет – доскрипит до Кандалакши на этом пригородном, там сядет на московский, ереванский, с недельку погостит дома – снова на московский – и... Ту-ту-у-у!

У сержанта связка поездных ключей – открывают всё, что заперто. Наряд шерстит каждый закуток, где может спрятаться человек-нарушитель.

Кеклицев сгоняет с насеста девичий курятник, заглядывает под полку: сумки, чемоданчики, вкусно пахнущий пакет с едой. Бирюков недоволен – старший нарушает хрупкое нарождающееся доверие между «народом» и «властью». Девчонки кормят Лёшку какими-то печеньками, и, надувая щёчки, передразнивают – изображают, как он жуёт.

Сергей давно знает этих пигалиц. С одной из них, тёмненькой, Кеклицев переписывался, однажды даже тискался в тамбуре, но дальше этого не пошло. Как-то всё наспех, в дыму, не пообщавшись, не узнав хорошо человека, минутными редкими встречами – противно... А раз так, то и не надо. Прав старый майор. Жизнь только начинается. Скоро будет всё, как в Америке, и он, Кеклик, поднимется, разбогатеет, у него будут такие телухи, какие духу Бирюкову и не снились.

Ёнский пограничный наряд – маленькая власть. Хотя бы на час с небольшим, хотя бы только для девчонок – пока стучат колёса пригородного. Бирюков кухарит посменно с Изюмовым. Неделю на кухне, неделю – в нарядах. Повезло молодому попасть в поезд, и сразу обнаглел, почувствовал свободу. «Надо сбить с него спесь» – решает Кеклицев и, протиснувшись между девушками, усаживается, хочет приобнять всех разом: мой, мол, курятник!

– Знакомьтесь, это Беркут, молодой, поваром пристроился – вон какие щёки нахомячил на кухне.

Девчонки смеются, только темненькая отвернулась, молчит.

Бирюков, краснеет, хмурится, смотрит униженным волком.

Кеклик заливается, шутит, болтает обо всём подряд, лишь бы показать младшим, что именно он – центр внимания. Он – старший.

– Паспорта у вас, девчонки, новенькие. А мне, знаете, сестра тоже паспорт прислала. В Ереване сейчас бардак, Армения ведь отделилась уже, вот военком и отдал паспорт за бутылку коньяка. Так что я теперь иностранец, вроде служу, а могу и плюнуть на всё – уехать. Понять только не могу, почему не отпускают.

Ладно, хватит, показал уже, кто в доме хозяин. Так и быть: пусть молодёжь останется, поворкует. Последний вагон сержант проверит сам, в одиночку. Идёт. В проходе качнулись вытянутые, как в столбняке, ноги в носках – длинный не то мужик, не то парень спит на верхней полке. Кеклицев тормошит спящего. С минуту парень не понимает, что от него хотят и где он находится. Местный, молодой нетрезвый.

– Документы!

Долго шарит в кармане и достаёт военник в виниловой обложке.

– Я в увал... – мычит спросонья.

«Тьфу, солдат. Пьяный» – чертыхается сержант про себя в недобром предчувствии.

По документам парень сам из Ёны, а служит в Кандалакше в инженерной дивизии. В общем, стройбат.

Он спрыгивает с полки в проход, и кажется, что вагон качнулся от прыжка. Лось – головой почти упирается в потолочную лампу.

У Кеклицева что-то происходит с голосом. Надо бы кликнуть Никанора – тот хоть и дух, да здоровый, качок. Правда трусоват и к тому же вместе с Бирей и девками остался в соседнем вагоне. Не докричишься.

– Увольнительная есть? Или отпускное? – мямлит Сергей нерешительно.

– Да отпусти... Ёну проехали, да? Проспал. Братан, в Куропте выйду, лады?

Мог бы и отпустить... А вдруг что не так. Вдруг его ищут, изловят, и он укажет на сержанта, что, дескать, именно он, Кеклицев, отпустил, не задержал?

– Нет. Поедем в комендатуру, в Ковдор, – Сергей идёт на принцип.

Какой страх сильнее? Животный? Что сейчас пьяный амбал, возможно, будет его бить, или страх отдалённый во времени, неясный, тревожный, который будет глотать старшего наряда, если он нарушит должностную инструкцию, приказ? Вдруг этот стройбатовец убил кого-то и сбежал из части? В любом случае, для начала надо добраться до Ники с Беркутом – так будет спокойнее.

– Пойдем в другой вагон, – вдруг говорит Сергей примирительно, – Там девчонки сидят. Может, знаешь их?

Солдат повинуется, идёт и, кажется, что идёт покорно, смирившись с необходимостью прокатиться до Ковдорской комендатуры. Идёт. Одет по гражданке. В руке авоська с чем-то небольшим, но тяжелым. Вот уже тамбур...

Вдруг всё валится, под ногами с изнуряющим ржавым скрипом дергается пол, и Кеклицев бьётся головой в электрощиток.

«Падла! Стоп-кран дёрнул!» Авоська лупит сержанта в лоб, сшибая фуражку, и с металлическим грохотом брякается о пол. Сергей замечает, как фуражка перекатывается с козырька на обод, сминается под ногами, со щелчком лопаются козырёк. Откуда-то сверху, как молоты, опускаются, долбают, месят стройбатовские кулаки. Выпрямиться, встать, выйти из-под ударов

в тамбурной тесной клетушке невозможно, и кровь хлещет на шинель, заливая железный пол красно-бурыми струйками. Поезд остановился. Солдат отжимает дверь и выпрыгивает.

Кеклицев ощупывает себя. Штык-нож на месте. Зачем он вообще нужен, этот нож – девчонок пугать? Штык-ножи на тыловых заставах пускать в ход всё равно нельзя – была спецди-ректива на этот счёт, их даже специально затупили, чтобы, не дай бог чего...

Но штык – часть формы, снаряжения, это как знамя, которое потеряешь или позволишь отнять – значит, покроешь себя позором.

– Бирюков! Никаноров, – истошно орёт сержант, выплевывая сквозь онемевшие губы солёный кровавый сгусток. Подбирает искалеченный «фургон» и тяжёлую авоську и вываливается наружу. В серой ночи виден светлый силуэт бегущего. Быстрый. Лось. Всё – сгинул в кустах, не догонишь...

Биря с Никой выпрыгивают, будто спросонья:

– Что? Что? Где? Стоп-кран сорвали? Там девки на пол, как горох, попадали...

– Какие девки!? Туда, бего-ом!

Застава ещё недалеко, в трёх километрах. Наряд не успел проверить примерно полвагона, но уже поздно: тяжело вздохнув колёсным железом, пригородный тронулся дальше, увозя аромат девчоночьих парфюмов в Ковдор – последний город перед границей. Городок – при комбинате и рудном карьере, за отвалами уже Финляндия. А Кеклицев с младшими мчатся в обратную сторону – докладывать о ЧП, о побеге нарушителя пограничного режима. Авоська – будто живая и злая – нет-нет, да стуканёт сержанта по коленке. А в кулаке наверно уже смялся и спёкся в крови чужой стройбатовский военный билет на имя рядового ... Прилепского? Прилепы? Всё в крови и слиплось – буквы не разглядеть.

Почти без стука врывается Кеклицев в офицерскую дежурку и, ещё не отдышавшись, докладывает Кабакову. Почему у всех офицеров белеют глаза – от гнева ли, страха, с перепоя... Всегда, чуть что, – белые, рачьи.

– Вы когда мужиками станете? Почему погранцов «шурупы» колотят? – сердчает майор.

Военный билет – единственное оправдание Кеклика – скомканно лежит у Кабакова на столе.

– Тревожная группа, строиться! – орёт начальник дважды, и в коридоре начинается бегодня...

Сергей всё ещё держит чужую авоську. Кладёт её на стол. Майор вытаскивает тяжёлую вещицу, которая, оказалась к тому же завёрнутой в белое вафельное полотенце и газету «Комсомолец Заполярья».

...Внутри «Макаров»... без обоймы. И лбы, что Сергея, что начальника вдруг покрываются холодной испариной...

Почему беглый солдат не вытащил ствол, чтобы, к примеру, припугнуть наряд в поезде? Не успел? Или ствол – это товар, который непременно надо было доставить по назначению? И тогда стройбатовский парняга – лишь посредник, курьер, а заказчик ждёт пистолет на дому, в Ёне, может быть, у погранцов под самым носом?

– В ружьё-ё! – вопит майор и, выталкивая сержанта из дежурки, мчится вскрывать оружейную комнату, – Вся застава, в ружьё-ё! Дежурный, соедини с участковым! Всю армию распродадут, гады!

Никакого СОБРа, ОМОНа, даже отделения милиции в Ёне нет. Только участковый и пограничники с заставы. Сейчас они окружают дом Прилепского-Прилепы. Голосят собаки – служебная из заставского вольера, и ей вторит из-за забора хозяйская, местная. В кои-то веки личный состав «Гербового» вооружён, и даже была команда пристегнуть магазины. Дверь заперта изнутри.

Майор-погранец орёт в «матюгальник» благим матом – уже полчаса, других полномочий у него нет. Наконец, после раздумий, участковый соглашается вскрывать дом.

Беглец словно в воду канул. Так и не нашли рядового Прилепу из инженерной дивизии – ни в Ёне, ни в Кандалакше, нигде... Растворился, наверно, в обширных постсоветских землях, а может быть – водах. Оружие заказчику не доставил, сам засветился по полной программе и едва не засветил торговца из своей части – какого-нибудь ушлого прапорюгу. Теперь парень не нужен никому. Живой точно не нужен. Хорошо, если просто подался в бега...

Атрощенко снова на заставе, с самого утра, вместе с комендантом и «шуруповским» офицером из инженерных войск. Назревает большая буча. Подлец Кеклицев валит всё на молодых – «сидели-болтали с бабами, звал – не пошли, пришлось проверять в одиночку».

– Ты сержант или нет? – хором орут на него Рудской, Антонов и Кабаков, – не можешь организовать личный состав!

– В рабочую группу его, – предлагает Грач, и в глазах прапорщика сверкают хищные красноватые огоньки, – а Бирюкова на кухню. Пусть кашеварит там безвылазно. А Изюмова – в поезд, давно просится.

Лёшка услышал – погрустнел, провёл ладонью по своей камуфляжной куртке. Карманы набиты печеньем, которое надавали девчонки в поезде. Да-а... дела-а... А той, темненькой, он вроде бы понравился. Жаль, что теперь не увидит её.

5.

Пронеслась, закончилась тёплая пора: к августу задождило, холодным туманом прибило к земле и пыль, и комаров.

Плита, кухня, рожи в раздаточном окне Бирюкову обрыдли, осточертели до невозможности.

– Товарищ майор, я выучил документы, прошу перевода из поваров в контролёры.

Не вовремя – Кабаков паял детали и матюкнулся, что отвлекли.

– Забодали-замучали, как Полпот Кампучию... Бирюков, а кто готовить будет? Нет у нас других поваров. Ну ладно, на той неделе посмотрим, может, опять Изюмова поставим, оно, конечно, да – тяжело у плиты без смены.

Зря Лёшка надеялся. Изюмов, как узнал, что опять надевать поварской колпак, – ушёл ночью в самоволку, напился и, после, вычерпав для порядку «холодный», поехал на губу на пятнадцать суток. И Бирюков понял, что застрял на кухне надолго.

А младшие «пингины», затаив дыхание, ждали ритуального перевода в «старые». Пустяки: каких-то двенадцать ударов по пятой точке – и ты уже «дед» со всеми неуставными правами. Всё можно, и всё положено. Скоро домой!

Наконец, началось.

Никанора переводили первым. В бане ему отсчитали дюжину «горячих» раскалённым тазиком, и – незадача – кожа полопалась, пошла волдырями, а ожоги загноились. Лечили его тайком – посыпали раны стрептоцидом, закрывшись в подхозном свинарнике. Пока Беркут со Свистком толкли таблетку и сыпали порошок, Шарыч рядом накидывал свиньям дроблёнку, ругаясь, что никакими силами, даже дубася по розовым сальным хребтам лопатой, не отодвнешь хряков от корыта.

Худо-бедно Никанора подлечили. Остальных кандидатов на перевод деда, напугавшись последствий, решили лупить по старинке – ременной пряжкой, и с завистью Бирюков наблюдал, как вчерашние духи – Шаров, Свисток и Коныч-Кононенко, гордые от полученных синяков, ходят по заставе «руки в карманы», и ворота расстёгнуты так, что даже иной раз нательный крест видно.

– Что-то все дружно вериги понацепили! – издевался Грач. – вы мне еще борода поотпускайте – я вам живо монастырь подыщу. Такой, что черпать – не перечерпать. А ну застегнуть крючки на воротниках, комсомольские переродки! Всем два часа строевой подготовки. Шаго-ом арш!

Бирюков внутренне улыбался, когда видел такие сцены, хоть и страдал от предчувствия, что суждено ходить ему в духах до дембеля. Что ж его-то, Лёшку, не спешат переводить, или не на того покровителя он в начале лета сделал ставку? Напрасно, выходит, кормил суповым мясом вологодского Капу-Копылова... Чем не угодил «старику»? Может, чересчур хотел угождать, перестарался?

А в конце августа вдруг срочно отправили на дембель Валинайтиса – мол, как гражданину Литвы, два часа на сборы и ...вперед, в свою суверенную страну.

Кеклик тоже всполошился и полез уже внаглую в офицерскую дежурку – снова шумно доказывать, что и ему, армянскому подданному, давно пора домой. И опять получил отказ:

– Не было из штаба такого распоряжения. По Литве было, а по Армении – нет. Мы здесь тоже люди подневольные. Сами не поймём, что и от кого теперь охраняем.

Тем временем заграница хлынула вглубь России ароматными сигаретными пачками – теми, что, выклянчив в проезжающих машинах, привозили на заставу ребята с «палки»; проникало оно на былую советскую Русь и в миссионерских автобусах, из окон которых синими птицами летели в руки солдат книжечки «нового завета»; откровения, колдуны и общечеловеческие ценности вылезали по вечерам из экрана телевизора «Рубин», который раньше включался в Ленинской комнате лишь для просмотра новостей.

Многое поменялось. Мазута Короедов, оставшись без своего друга и телохранителя Валинайтиса, присмирел и теперь увлечённо следил за приключениями утят из диснеевского мультика, а Панов и Капа сроднились с героями Санта-Барбары. Не отставали и офицеры, смакуя кабельное ТВ у себя в дежурке. Пребывая в телевизионном угаре, как-то не сразу застава заметила, что пропал разжалованный в рядовые Кеклицев. Воскресным утром ещё видели, а вечером на переключке уже недосчитались.

Это было ЧП, и как всегда, на следующий день в проёме бытовки, как штандарт, повисло одеяло – заработал кабинет для бесед и допросов.

– Проверять поезда, дать ориентировку на вокзалы! – кричало в телефонные трубки начальство – так громко, что, наверно, слышно было продавщице пряников на станции.

И Лёшка вдруг понял, что настал его звёздный час.

– Товарищ капитан, – убеждал он Атрощенко, – я выучил документы, отличаю настоящие от фальшивых уже наощупь. Очень прошу перевести меня из поваров в контролёры и рекомендовать в Высшую школу КГБ, и ещё ...у меня есть ценная информация.

– Ну говори, Бирюков, не томи! – Атрощенко выглядел на редкость серьёзным и – как Алексею показалось – слегка разочарованным...

– У Кеклицева есть паспорт. Он сам говорил. Ему сестра прислала. Он может полететь на самолёте. Товарищ капитан, дайте ориентировку в Мурманский аэропорт. Я уверен, он там.

Кеклика задержали на стойке регистрации в аэропорту, и, для приличия потомив бывшего сержанта несколько дней на гауптвахте, посоветовавшись с округом, всё-таки решили отправить домой в Ереван. Все понимали, что хоть и некрасиво, подленько, по-стукачески, явно преследуя личные цели, но ведь спас же Бирюков лицо заставы, комендатуры, всего погранотряда и округа. Неосознанно защитил, так сказать, честь мундира. Не дал оскандальиться и, может быть, очень многих командиров-начальников удержал на насиженных должностях.

Прошло еще немного времени. Деда уже стали дембелями и потихоньку разъезжались по родным пенатам: Паныч – в Питер, Мазута Короедов в Белгород, Капа – в Вологду.

А к зиме застава с удивлением узнала, что «особист» Атрощенко подал рапорт об увольнении в запас, и тогда Бирюков впервые задался вопросом, а так ли уж и нужна ему эта вожденная школа КГБ... И ради чего тогда носит он маленькое едкое пятнышко на своей совести... С чего всё началось? С того, что в какой-то момент в учебке очень захотелось быть поближе к дому?

Его так и не перевели в старые. Ну и что? Зато дали ефрейторскую лычку и начали регулярно ставить старшим наряда в Ковдорский поезд. И не так уж важно, что на самом деле думали о нём Кеклицев, Кабаков, Грач, солдаты-сослуживцы... Ведь, несмотря на всё, будь оно тайным или явным, презрение с их стороны, он опять победил. А может, нет-нет да царапнув ключицу под наглухо застёгнутым воротником, по-прежнему помогал ему присланный мамой крестик...

С тёмненькой девушкой, некогда кормившей его печеньем, он иногда виделся в вагоне и даже рискнул написать ей письмо, на которое она не ответила. Ну и пусть. Как бы сказал их умудрённый начальник заставы: «К чему, ребята, вам этот ранний хомут? Жизнь долгая – ещё успеете походить под ярмом...»

НИМФА

Август на исходе. Еще месяц-другой, и облетит клён, который, распускаясь по весне, семь лет подряд загораживает вид из Володиного окна на исторический центр. К концу октября уже чьему-нибудь новому взору откроется россыпь золоченых монастырских куполов и на холме – остатки белокаменного детинца семнадцатого века: два фрагмента старой стены. Половину кремля разобрали в тридцатые годы на нужды метростроя и вывезли в столицу, а остальное растащил на камни частный сектор – уже в девяностые. Нынешние домики, облепившие холм до самого верха, – не чета средневековым посадским клетям-лачугам, что Володя видел на макете в краеведческом музее – теперь всё больше в ходу кирпич и сайдинг. Сейчас удачливые хозяева, будто соревнуясь, перекрывают крыши черепицей и монтируют спутниковые тарелки – целое «радарное» поле белеет на северном склоне... Река под холмом обмелела, заросла палмой и ольшаником.

Вид портят грязные, крест-накрест, полосы на окне. Когда в том году в июне был ураган, тот клён, что растёт у подъезда, исхудалой угловатой веткой разбил внешнее стекло. Володя наспех прихватил крупные осколки скотчем, надеясь, что мера временная – пока не закажет стекольщику новое. Не сбылось. Прозрачная лента потемнела, истрепалась, а осколки ходят ходуном и почти что поют на ветру, звякая друг о друга... Иногда ночью кленовая ветка, виногато похлестывая по увечному окну, нудно просится внутрь...

Володя живёт, а точнее, доживает оставшиеся ему две недели в пятиэтажном доме постройки тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Фасад с барельефной датой и часами на башенке-обманке отреставрирован и, умытый дождём, смотрит на вычищенную площадь, но из комнаты эту часть города не видно – окно, полузакрытое клёном, выходит на другую сторону.

Задний двор – неубранный, нехожий – срывается книзу в овраг рыжими промоинами дороги, убогими коробками гаражей, послевоенных кладовых и сараек. Ниже – заросли и речка, за которыми подъём в кремлёвскую гору, удобренную костями татар и русичей, бившихся на этом склоне одни с другими в достопамятные времена. И на костях, как на сваях, закрепился, мёртвой хваткой цепляясь в холм, новый частный сектор.

Комната в коммуналке, в доме с часами, была Володиной единственной недвижимостью. Третий этаж, квартира пятнадцать дробь два. Площадь имени величайшего вождя или злодея – это кому как больше нравится, а Володе уже и не важно. Дом двадцать пять и тоже с дробью. Это его последний городской адрес. Рядом, в центре площади, фигура в два человеческих роста держит в чугунной руке свернутую в трубу литую бумагу – скорее всего, по задумке скульптора, это Декрет о земле.

Подъезд тёмный, пропахший сыростью из подвала, кажется уже совсем чужим и то ли приветствует, то ли провожает Володю парой взметнувшихся по лестничному пролёту котов и паутиной на облезлых стенах.

Сделка состоялась в середине августа, и по договору ему позволили ещё немного пожить здесь, пока он не переведёт деньги в соседнюю область. Как странно: тамошние люди продают дом в тихой, почти не тронутой цивилизацией деревне, чтобы уехать в районный центр и ютиться, как это делал Володя последние семь лет, в какой-нибудь четырнадцатиметровке, а он, оставляя эти прожитые годы на память дальнему подмосковному городку, уезжает в лесную глушь.

— — —

Ксюша ему не нравилась – ни в последнюю их встречу, чуть менее полугода назад, когда она, со скандалом вырвавшись из родительского дома, почти что по первому свистку приехала

к нему на майские праздники, ни тогда, еще в другой жизни, в Москве. Нет – она в целом была «ничего», особенно если не вглядываться и не привередничать, как это раньше любил делать Володя. В Ксении даже присутствовало что-то такое, от чего наутро, после дня, проведенного вместе – в кино или на выставке, на качелях в Нескучном саду или на прогулке по набережным – все её маленькие недостатки мнились вдруг шармом, изюминкой, признаком редкой, на ценителя с изысканным вкусом, породистой красоты. Но при ближайшем рассмотрении, едва они встречались вновь, – его взгляд становился критичным, беспощадным, въедливым: взгляд перфекциониста, взгляд-микроскоп, – Володя досадовал на разные мелочи, которые нудными занозами начинали саднить в эстетствующей душе, рушили идеал, рвали в клочья сотворённый за ночь канон. Иногда в метро, когда они стояли, держась с ней за руки, на них посматривали другие молодые люди: скользнут глазами по девушке, присмотрятся, оценят всю целиком и, отводя охватистый озорной взор, улыбнутся кавалеру сочувственно: «Ну-ну! Не повезло тебе, мужчина, с пассией! Не пара вы с ней!» И Володя отмахивался от странных мыслей: а вдруг эта полная сил молодёжь своим сочувствием имела в виду как раз обратное – что молодая, оригинальная, яркая, но, увы, не красавица – искусствовед Ксюша и он, не успевший еще повзрослеть до зрелого мужчины, но уже скучный стареющий реставратор Володя, и есть идеальная пара? А Ксения, прислонясь к поручням возле вагонных дверей, бывало, потупится как-то скорбно, печально, улыбка углами вниз, думая, что у неё, наконец, любовь. Володя проникается, и жалко её до безумия, потому что глаза у неё – печальные, медово-шоколадных оттенков, и вроде красивы сами по себе, но слишком близко посажены к тонкому, длинноватому для её лица носу, и шикарная вишнёво-золотая коса ниже талии лишь подчёркивает, что дюже широки бедра; и зубы – далеко не жемчуг; грудь маловата, а талии, глянешь, и вовсе нет. Ксюша яркая – этого не отнять, даже позировала, как она говорит, какому-то живописцу для «Речной нимфы» в итальянском стиле, но Володя недоумевал: уж какая тут может быть нимфа с розовыми ушами, с розовой кожей у корней волос и розовыми кляксовыми пятнами по всему телу – от малейшего волнения, расстройства, стыда, желания... А вдруг ничего лучшего, более соответствующего его тонкому художественному вкусу он уже и не найдет? Вдруг Ксюша – его крест, вдруг она, как он подумал, хороня себя в её скорбной улыбке – его последний причал? Ведь когда еще только они стали встречаться и изредка ночевать друг у друга, ему уже было тридцать девять, а ей едва исполнилось двадцать шесть девичьих, невинных лет, и её родители восприняли весть о «престарелом» друге дочери в штыки.

– Старый. Профессия грязная – будешь ходить вечно перепачканная в его красках! – мама любила чистоту, опрятность, гигиену.

– Надеюсь, это не всерьёз? Ну не замуж же за такого? – папа мечтал совсем о другой партии для своей «принцессы».

И когда Володя лишился своей московской квартиры, поселившись в области, Ксении запретили даже думать о нём:

«В провинции грязь, тараканы, антисанитария – мы же знаем, мы ведь жили...»

Раньше он приводил её в свою громадную трешку на Алексеевской и медленно покорял – своей интеллигентской неспешностью, за которой скрывалась робость, своей старомодностью, своим собранием этюдов девятнадцатого века.

Чем же зацепила его она? Невинностью? Непроявленным, постоянно ускользающим шармом, которого, приглядеться, и не было никакого в помине? Может быть, общими с ним, как казалось на первый взгляд, интересами? Или, неужто, как любого среднего твердолобого самца – своей некрасивой яркостью? Так чем же?

Володя в ту пору консультировал в аукционном доме, выполнял на заказ поновления, готовил живописные лоты к торгам – чтобы всё блестело стариной, тайной, временем, смотрелось солидно и дорого. Таким же дорогим и чинным выглядел интерьер Володиной квартиры

на проспекте Мира в сталинском доме, так же солидно смотрелся и он сам – в черной водолазке, немецком сюртуке и при серебряных часах на цепочке.

А Ксюша долго, вдумчиво и талантливо писала диплом.

Слишком сильно всё изменилось с тех пор: который год он жил в коммуналке без малого в сотне километров от столицы, в захудалом районном городишке, даром что со славной древней историей. И ходил потеряннным, махнувшим на себя рукой неряхой – грязные штаны да лоснящаяся от старости куртка. Раньше для таких, как он, было в ходу меткое слово «бич» – бывший интеллигентный человек. И яркая Ксюша теперь любила его только на расстоянии.

Комната изначально числилась за Павлухой – Лёней Павловым из городской наглой братвы. Эта банда и забрала у Володи ту самую наследную московскую трешку, в которой реставратору покорились после долгих ухаживаний Ксения. Бригада в лихие годы так разошлась в криминальном раже, что городка и окрестностей ей стало мало, братва начала «держит» в первопрестольной и даже, мало что соображая в новой для себя сфере, умудрилась дебютировать в антикварных делах.

Володе позвонил человек, по голосу – прибалтнённый, в интонациях за деланной распальцовкой читалась неуверенность дилетанта, влезшего со свиным рылом в калашный ряд.

– Есть икона. Семнадцатый век. Надо отреставрировать. Это подарок серьёзному человеку – дань, так сказать... уважения.

Володя хорошо понимал, откуда у людей с такими голосами берутся иконы семнадцатого века и хотел было положить трубку, но названная сумма гонорара заставила обратить на себя внимание и уточнить детали:

– Иконография?

Кажется, его не поняли, и вопрос пришлось подкорректировать:

– Сюжет? Что изображено?

– А-а.. – наконец, сообразил человек, – Женщина с ребенком...

Володя взялся. Даже, увидев Богородицу воочию, был восхищён тем, что ему посчастливилось прикоснуться кистью к явно алтарному намоленному веками образу.

Он сделал всё на совесть и в срок, отдал работу, и Павлуха, просияв, щедро расплатился.

А вскоре Ленкина братва жестоко избивала реставратора в подъезде: дескать, отданная после трудов икона – новодел, а Володя якобы подменил ею оригинал, оставив бесценный шедевр себе.

Кто его решил «кинуть»: сам ли Павлуха или «серьезные люди», – Володя так и не узнал. Его поставили на «счётчик», съевший за считанные недели гонорар, коллекцию этюдов, накопления и квартиру. А Ленка, подумав, что хороший мастер ещё может пригодиться, без крыши над головой одинокого реставратора не оставил и в обмен на московскую квартиру отдал ему свою областную комнатуху, которой и сам владел недавно.

С тех пор минуло несколько лет, Павлуха не появлялся, поначалу иногда звонил – так, поговорить за жизнь с человеком искусства, с которым свела Божья мать Казанская, узнать, чем «терпила» живёт-дышит, лишний раз подпугнуть для остротки... А потом пропал – после того, как сообщил, что продал бывшую Володину недвижимость солидным и опасным людям. Позже был слух, что Павлов отбывает срок, ещё болтали, что его застрелили свои или конкуренты, но никто не проверял...

– Твой Павлуха – полный отморозок! – когда-то предупреждала мощно сложенная соседка Людмила из комнаты дробь один, – Если ты той же породы, то учти – отмутужу и сожгу вместе с домом! Мне этой коммунальной халупы не жалко. Все равно жизнь в ней не мила. Я самбистка, закалка у меня старая, советская, – себя в обиду не дам!

Но Володина порода была совсем другая – настолько до робости интеллигентная, что даже на кухню он старался не ходить, когда там, наглухо перегородив квадратным станом все подходы к плите и раковине, гремела шкворчащими кастрюлями баба-богатырь.

– Людмила, а кто здесь раньше жил, до Павлова? – пытался он выяснять время от времени.

– Ой, и не спрашивай, – зло отмахивалась соседка, – Что до Павлова грязь и вонь, что с Павловым. Раньше ацетоном тянуло и в краске все ходили, а как Лёнька въехал, блат-хату тут устроил явочную – сам редко являлся – деловой, всё в Москве пропадал, а здесь... То шпана с пистолетами живёт, то бабы голые в мою ванну мыться лезут – ор, пьянки... Тьфу, толчок хлоркой после них чистила каждый раз – вдруг больные... Это я, я всю сантехнику нашла и приволокла на своём горбу! Сама! Лёня ни копейки не дал. Ну это ж надо – в моей ванной – шмары бандитские!

Словно дойдя до кипения вместе со своим супом, Людмила потихоньку остывала, выключала газ в плите, шваркала шумовку в раковину и туда же гадливо сплёвывала. И успокоившись после очередной волны дурных воспоминаний о Лёньке, вдруг принималась плакаться:

– Я ведь дом в поселке продала, в совхозе бывшем, чтоб комнату эту купить – двадцать километров отсюда... Там ни газа, конечно, ни водопровода – топи дровами или углём, но ... жалею теперь. Думала, в городе подешевеет будет да полегче, а то на то и выходит. Ты спрашивал – ответу: художник тут жил до Лёньки – вроде тебя, старый только совсем. Рассеянный. Я прежнюю раковину никак забыть не могу – вся была краской загажена, кисти в ней мыл, здесь, на кухне. Ты вот аккуратно за собой моешь, даже не скажешь по тебе, что художник...

– Да я и не художник, – ответил в тот день Володя, – Реставратор...

– А лаками всё равно пахнет, – не преминула соседка ввернуть намёк.

Всяляясь, никаких живописных следов в комнате он не застал – Павлуха, понятное дело, затеял косметический ремонт после того старика, не любоваться же «бандитским шмарам» на чужие муки творчества...

– А как его фамилия была, этого художника?

– Зотов. Известный он. – помолчав, отозвалась Людмила.

– Зотов?!

Володя бывал в местном краеведческом музее, видел образцы его этюдов: самобытно, и манеру не спутать ни с чьей другой! И когда-то в Москве на аукционе промелькнули редкими и жутко дорогими лотами зотовские выпукло-барельефные вещицы из ранних – в массивных резных рамах, крашенных под бронзу. Так старик писал и оформлял свои работы: чтобы в итоге получался не лёгкий гладкий образ, а тяжелая зримая картина-вещь – весомая, скульптурная, основательная.

Людмила промышляла помойками – уходила вечерами с тележкой и обшаривала – где баки, где кучи, – в поисках цветных металлов – медных катушек, плат, алюминиевого лома. Часто в сумерках возле домов можно было услышать её басовитый клич, которого боялись окрестные бомжи:

– Я самбистка! Мне всё равно – жизнь моя и так насмарку! Пришибу – не поморщусь! Моя территория!

Временами одного из той рвани, которую прогоняла от мусорных баков, – крещёного татарина по имени Дамир-Иван, – Людмила брала домой, отмывала тоже чуть ли не в хлорке, как после «шмар» – унитаза, и оставляла, грустного и трезвого, жить с собой до тех пор, пока мужика не одолевала тоска и он не сбегал от благодетельницы на непрютную холодную волю. Татаринцем Дамир был половинным и внешность имел такую же, как и большая часть рязанских, тульских да калужских мужиков: сивые лохмы и серые глаза с косоватым, когда смех растягивал скулы вширь, прищуром. Ночами Володе было неприятно слышать за стенкой возбужденный соседкин шепот, когда под мерный скрип койки она, невзирая на Дамиров православный крест, низким голосом называла мужика: «Мой басурман!» и всхлипывала от приступа внезапного счастья.

С помойки она притащила к себе не только сожителя, но и всю комнатную обстановку, которую регулярно обновляла, заражая всю квартиру оживающей от тепла и человеческого духа клоповьей молодью. Мелкие прозрачные твари бегали словно через стены, селились в Володиных шкафу, диване и ночами не давали спать. В санэпидстанции сказали, что у Володи есть специальное название – нимфа, и очень удивились внезапному Володиному смеху. Комнату приходилось несколько раз протравливать, пока до Люды не дошло, что от добра добра не ищут и мебель с коврами у неё и так хорошие – других не надо.

За окном поредела кленовая крона, на горизонте, за кремлевским холмом, стал виден монастырь. В щетине строительных лесов – проблески свежей позолоты. Поновляли, старались успеть к очередному Покрову. Володю изредка посещали мысли о послушничестве, однажды, на пике религиозного вдохновения, он собрался было идти беседовать с настоятелем, но по дороге его облаяла собака, а у монастырских ворот обматерила юродивая, и он не рискнул. К тому же, воспоминания о Москве не давали покоя, сподвигали непременно выстоять в миру, манили вернуться в азартное чрево большого города.

Однажды Дамир после очередной вольницы оказался снова в их коммунальной квартире: был уже прощён, вымыт в жарком пару и чистил на кухне картошку. Вечерело. Людмилы не было – ушла, видно, на промысел.

– Иван, я давно хотел вас спросить... – осторожно начал Володя, тщательно промывая под струёй воды тончайшую колонковую кисть.

– Лучше – Дамир, – подавленно поправил татарин и тихо спросил:

– А выпить нету? Мне чуть-чуть, чтобы выветрилось до прихода Людмилы...

– Есть. Как раз чуть-чуть.

Володя принес бутылочку с настойкой и плеснул в стакан.

– Дамир, так вот...

– Теперь можно – Иван, – сипло оборвал собеседник, занюхал горькую жидкость жёлтой сырой картофелиной и, откусив кусочек, упокоенно захрустел.

– Вы давно живёте в городе? – Володя решил задавать вопросы прямо, поняв что имеет дело с человеком простым и открытым.

– Да я родился тут. Все меня знают, каждая собака, – охотно отозвался Дамир-Ваня и залюбовался пятнами на потолке, под которым покачивалась и весело жужжала уютная пыльная лампочка.

– И вы знаете всех?

– Да мно-огих...

– И художника, который здесь жил раньше? В моей комнате, еще до Павлухи?

– Зотова, что ли? Конечно знаю, – с лёгкостью сказал татарин, потом нервно повёл носом, шмыгнул и поправился, – Знал.

Володя вдруг пожалел о том, что разговор этот не состоялся раньше, что он в глубине души Дамира презирал и сторонился – этого бесхитростного человека, столь униженного властной бабой и жизнью. А следовало бы не задирать нос, лучше относиться к людям и не гнущаться теми, кто потерял себя в последние десятилетия. Сам-то он чем лучше? Вышло так, что он все эти годы жил в этом райцентре гордым отшельником, и кому принёс этим радость, кого осчастливил?

– И что с ним?

– Умер. Давно. Родня какая-то дальняя комнату сразу на торги выставила. А Павлуха купил. Посадили Лёньку за какую-то ерунду – слышал, наверно? Ну, говорят, выйдет скоро по УДО. На рынке народ судачит.

Собеседники помолчали немного. Володя задумчиво слушал лампочку. Потом Дамир отглотнул еще.

– А Зотов – старик чудной был. Кстати, на барахолке сейчас его картину продают... Деревенский пейзаж, исторический. Володь, ты это... Сам-то выпей.. Нет?

А Володя молчал и в тревожном мерцании кухонного света изводил себя насущными вопросами:

«Неизвестно, на что бандита Павлова сподвигнула тюрьма: вдруг решит остепениться? Где он надумает жить, когда выйдет на свободу – в какой из своих многих хат? Остались ли они у него? Выйдет по УДО, а квартиру мою бывшую продал. Куда пойдёт теперь? Сюда? А куда я? Надо что-то решать. Да и в Москву пора возвращаться – нагостился уже на сто первом километре. Вот только как вернёшься? Жениться? О-ох... Позвонить надо, позвонить – Ксюше, если ещё не выдали её замуж привередливые родители, кому же ещё...

Барахолка вытянулась вдоль полукилометрового железного ангара, в который, как городская речка – в трубу, был закован прежде широкий и бурливый поток местного вещевого рынка. Народ, пройдя до конца по тесному руслу, накупив тряпок, модных, новых, актуальных, выходил на свет божий и расслабленно возвращался назад по широкой тенистой аллее. На всём её протяжении, под деревьями, росшими напротив жестяной гофрированной стены рынка, сидели, стояли, переминались – поодиночке, группами, иногда под гармонь или песню, кто с чем, – продавцы старых вещей. Торговали, в основном, пенсионеры, нищая братия и проходимцы – скарбом из дома, вязаными носочками, зачитанными книжками, чем-нибудь с помойки, что мнилось востребованным и сулящим барыш. И особняком, с осознанием своего права здесь находиться, того права, которое даёт утончённый товар и связи, стояло хорошо одетое жульё со всей той предметной мозаикой старинного быта, которую называют антиквариатом.

У них, у жучков-антикварщиков, хорошо зная подноготную их ремесла, Володя и нашёл замшелую, пыльную от скитаний Зотовскую картину-этуд «Русь небывалая», тускло подписанную с обратной стороны «Зотов. Пленэр в деревне Заречье, Тверская область». Торгуясь, жулики упирали на оформление. «Одна рама чего стоит», – сказал очкарик в черном кителе, с усиками, стриженными под австрийского ефрейтора начала века, – Ну музейная ведь рама! Сам же понимаешь! Третьяковка отдыхает!»

Потом продавец что-то уронил и торопливо нагнулся – оказалось, собрать с земли рассыпавшиеся веером открытки. С факсимильных карточек глядел всё тот же образ бесноватого австрияка – в солдатской шинели, в штатском, наконец, во френче и надвинутой на рачьи глаза фуражке «седлом». Поклонник чужого фюрера казался испуганным, будто его поймали за каким-то очень срамным, всеми поругаемым делом. А Володя был рад и невежеству продавца, и его страху, рад, что, сосредоточившись на своих открытках и достоинствах тяжёлой рамы, самое ценное – работу тихого провинциального гения Зотова – теперь уступят ему задёшево.

На полотне была изображена деревня, каких до сих пор реставратор воочию не видел – северной планировки дворы, избы с резными коньками и причелинами, колодцы-журавли... По очертаниям натуры, по тому восхищению, с которым, чувствовалось, автор ухватил и набросал пейзажную и архитектурную канву, намётанному Володиному глазу стало ясно, что деревня существует на самом деле и она вовсе не вымысел, а такова и есть в реальности, какой её передал на холсте художник. От пейзажа веяло той изначальной, неведомой уже, лишь в сказках сказываемой дохристианской, домонгольской и даже докняжеской Русью, которую нигде больше не увидеть – ни в городах и пригородах, ни в сёлах, ни в кино. И четыре фигуры, вписанные в пейзаж, в белых льняных рубахах, подпоясанные кушаками, были небрежно набросаны со спины: как бы уходят крестьяне – не то на общинные работы в поле, не то и вовсе долой из истории.

Был дождливый сентябрь – снаружи кирпичную кладку дома косо заливало студеной моросью. Стены пятиэтажки, возведённой ещё в пылу индустриализации двадцатых годов,

за последующие восемьдесят лет состарились и теперь впитывали влагу, словно песок после засухи. К ранним холодам засустились коммунальщики. Воду, пока еще стылую, подали внутрь, в проржавевшие трубы, – и комнатные батареи отопления уже неделю плакали конденсатом в черную плесень половиц. Не лучшее место для исторического пейзажа кисти хорошего мастера, – но другого помещения у Володи не водилось, да и из этого, того и гляди, каким-нибудь криминальным способом его выкурят, когда выйдет из тюрьмы, бандит Павлуха.

Полотно с деревней, с рекой и небом, уходящими книзу и кверху в тяжёлое подрамые, висело теперь на гвозде, который хозяин с легкостью вбил, даже, как самому показалось – вдавил в сырую рыхлую стену, отделявшую комнату от слякотного внешнего мира. Выдержат ли гвоздь и волглая кирпичная крошка такую тяжесть? Рама – деревянная, с фигурными гипсовыми накладками – крашенная под бронзу, и сам холст, со многими слоями густых масляных наляпов – всё вместе тянуло килограммов на десять.

Пейзаж за годы скитаний по барахолкам, вернисажам, чуланам, квартирам и гаражам пропах плесенью, нафталином, пихтовым лаком, табаком и клопами, как, впрочем, пропах всем этим за века и приросший бараками, промзонами, многоэтажками – кирпичными, бетонными, промышленными, – издревле монастырский и ратный город.

Теперь выдавший виды холст форматом полметра на метр, наконец, попал в умелые руки, и Володя счёл своим долгом спасти шедевр, вернуть ему первоначальный лоск. Сделает это – и останется позади череда промежуточных владельцев: мелких антикваров, агентов, перекупщиков, старьёвщиков и горе-ценителей, отчистятся пятна гаражного мазута и грибка. Работа заиграет, наберёт глубину, перспективу, цвет, обретёт достойное место в какой-нибудь частной коллекции. Вопрос, остались ли у Володи связи в Москве, найдётся ли, кому и как предложить спасённое творение?

И снова, как мантру, он повторял:

«Позвонить, позвонить Ксюше, она же искусствовед, может, возьмётся, подскажет, кого заинтересовать, напишет статью... Позвонить и пригласить её приехать, в конце концов! Хоть на Новый год... Только захочет ли она с ним знаться после такого перерыва...»

К новогодним праздникам Володя закончил реставрацию пейзажа с общинной деревней и, гордясь работой, ждал в гости из Москвы Ксению, свою давнюю любовь-привязанность, с которой развела когда-то судьба. Коммунальщики наконец-то заработали как надо – к батарее не прикоснуться, в комнате стало тепло и сухо. Молодую подругу, значительно моложе его, всё ещё яркую и с той же толстой, ниже пояса, тугой вишнёвой косой, на Новый год не отпустили родители – она вырвалась лишь к Первомаю, приехала, улыбаясь по-прежнему – грустно и влюблённо, но в глазах затаилось сомнение. Правильно ли она поступила, что, хоть и выдержав паузу приличия, но всё же сдёрнулась с места, ждала на вокзале, почти два часа тряслась на отвратительных жёстких лавках вагона? Она нарушила родительский запрет. Пара они, всё-таки, – искусствовед и реставратор, или всё это – лишь долгий морочный нелепый самообман? В настроенной задумчивости осталась ночевать вместе с суженым на узком раскладном диване.

Но сна не получилось – всю ночь москвичку кусала маленькая белёсая очень вёрткая тварь, которую с трудом увидели, а изловить так и не смогли – клоп спрятался на стене в старой зотовской картине, между холстом и рамой. Ксюша дрожала, всхлипывала, теряла голос от жути, которой, мгновенно её отрезвив, обернулась реальность. Невероятно: как её Володя мог так низко пасть – постель кишит насекомыми! Как он, всё-таки, постарел и опустился за эти годы! Для кого она берегла себя всё это время, тешась пустыми надеждами: поживёт, поднимется, вернётся в столицу на белом коне. А мама была, оказывается, права... Старый, грязный...

– Это нимфы! – пытался объяснить он, – Нимфы, понимаешь? Это Людка, наверно, при-тащила...

Он снова, на этот раз нелепо и невесело, расхохотался, а гостя заплакала.

Утром, ещё затемно, Володя взглянул на Ксюшу, на общинных крестьян, поблескивающих свежей краской, и принял решение: в любом, случае, все уже в прошлом – он едет в заветную деревню Заречье в Тверскую область, где наобум, по объявлению в газете, даже не взглянув, купит старый дом с участком. И в этом доме, в красном углу, будет висеть зотовская картина «Русь небывалая». Этим же утром в первой электричке печальная, злая, покусанная, в малиновых дорожках волдырей и розовых пятнах горя гостя отбыла восвояси.

Уездный город сиял ей вслед золочёными куполами недавно отреставрированных монастырских храмов.

ИВАН ИВАНЫЧ

1.

Посёлок Померанцево строился сразу после войны для железнодорожников и леспромхозовцев и растянулся вдоль одноколейки километра на полтора, а то и на два. Загорелось сухой осенью – только-только успели протянуть и подключить сельчанам долгожданный газ – и вот, сразу утечка. От спички или просто от щёлкнувшего выключателя сначала разнесло полдома возле клуба, а затем занялось, раздуло ветром и разогнало красного петуха по заборам, сарайкам, курятникам, поленницам – на соседние домишки, бараки, бани, гаражи. Исушенные временем, просмолённые – чтобы ни влага, ни короеды-точильщики не испортили древесину, – покрытые берестой, которая, пламенея, легче всего и перелетала на соседние крыши, – все эти постройки были понатыканы вплотную, налезали одна на другую, будто воевали с себе подобными за жизненное пространство. В накалившемся горниле, взрываясь, выгорал газ, лопались канистры в гаражах, вспыхивали яблони, снопами искр обстреливало, накрывало по пять-шесть крыш зараз. Позже на пепелище один из погорельцев рыскал в углях на том месте, где раньше был его сарай и всё дивился на расплывшийся железный слиток. «Это ж гвозди! Здесь, – говорил, – у меня ящик с гвоздями стоял! Ну, знать, и пекло было!» Зарево видели даже на дальней станции Друлёво, а это километров пятнадцать по железке, не говоря уже о ближайшей Пылинке, где народ переполошился от дыма и мучился страхом, что загорится лес, и верхами, по кронам деревьев, перекатит адскую жаровню на их усадьбы. В Померанцево пожарные машины прибыли, когда огонь уже дожирал головни, когда спасать было некого – все живые к тому времени спаслись сами. Но к лесу прибывшая команда огонь не подпустила и даже успела отрезать пламя от нового планта.

Семнадцатилетний Толик, зависавший в ту ночь на пацанской гулянке у друзей, – как услышал крики, бахи канистр и учуял дым, – вмиг прохмелел и помчался в центр, – спасать мать, на которую был смертельно обижен и даже долго с ней не разговаривал. Там же, в огне, был и нагулянный мамкой младенец – причина всех Толиковых обид. Но парень не успел – когда прибежал, невозможно было даже приблизиться к полыхающему жилью. Он попытался влететь в избу с разгона, что называется —«дуром», и сначала вышло, выдернул из огня орущего обожжённого братика, но вторая попытка не удалась – рухнувшим бревном перебило ногу, – его самого еле оттащили. После пожара поселковое кладбище расширилось на шесть могил, к одной из которых потом каждый год на Красную горку Толик ходил плакать. Померанцево лишилось пятидесяти дворов, двух барачков, клуба, лесопилки с грузовиками-лесовозами и склада с дизельным топливом – бочки с соляжкой рвались так, что в районном центре Ландышево, видать, услышали и прислали вдобавок к наземным расчётам вертолет – заливать огонь с воздуха. Чарующе переливаясь белыми, красными, жёлтыми, синеватыми языками, тлела и поселковая администрация, – никому она не была интересна, – весь гвалт, плач, крики, рёв и движение слились в одну низкую вибрирующую ноту не здесь. Гул этот, переворачивающий нутро всем, кто приближался и слышал его, исходил оттуда, где гибли у людей их близкие, где горело нажитое добро, где, добавляя в общий смрад запахи палёной шерсти и перьев, металась в дыму куры, козы, коты, чья-то обезумевшая корова. Тем не менее, прибывший расчёт первым делом взялся тушить именно обитель власти. К утру понаехали чины: районное начальство, пожарники из области, МВД, страховщики, газовые менеджеры, фотокор местной газеты, репортеры областного канала – расследовали, осматривали, опрашивали, просили встать в удачный кадр, решали, что и как дальше, считали убытки, обещали компенсации.

«Гвозди, гвозди мои снимите! Идёмте, покажу», – приглашал мужик недоумевающих телевизионщиков посмотреть на железный слиток. То и дело, в объективы совал свою пьяную

рожу Юрка Сидор из Артемьевки – как он только тут оказался – и кричал дурным голосом: «Ух ты, пожа-ар!»

Начальство кумекало, кого бы назначить виновным, – посоветовавшись, свалили всё на ветхую старуху из избы возле клуба – дескать, по старости позабыла выключить газ. Остановкой той бабульки так толком и не собрали. А Толика с братишкой отвезли в больницу – долго лежали они по палатам, – с месяц, наверно, может, и дольше, – лечили их, латали, но так и выписали: одного – хромым калекой, а другого – со страшными рубцами от ожогов на детском личике.

Получив – выбив, выпросив, заплакав – из властей помощь, живые поразъехались кто куда. И во всей округе стали горько называть оставшийся от посёлка плант – «Погорельцево», а потом и вовсе коротко – «Гарь». Толикова бабушка, взвалив на себя заботы о внуках, – хоть с малым Лёничкой и помогали женщины из уцелевших домов, надорвалась да угасла, когда «подгарочку» исполнилось четыре. Старший «хромец» к спасённому им братишке привязался, таскал его всюду за собой, и уже, завидя их издали, и пылинские, и артемьевские жители переговаривались и показывали руками: «Вон Хромец с Подгарком идут». Толик винил себя в том, что тогда, во время пожара, не успел, не смог спасти, вытащить любимую маму, а главное, не успел при жизни ни простить её, ни попросить прощения. Мотал он в опустевшей избе почти одинокий бирючий срок, к которому то ли сам себя приговорил, то ли так было назначено судьбой. Лёшка – только так, а не Леонидом, Хромец называл брата – с изуродованным лицом, с глазами без ресниц и бровей, лишь добавлял одиночеству старшего горестных, безысходных оттенков. Толя перебивался сезонными работами то на железной дороге, то у частников на полянках, то колымил в соседних деревнях. Ещё принимал у себя охотников, – те, если не пугались младшенького, останавливались в их доме, привозили и выпить, и харчей, делились новостями городской, чаще тверской или ландышевской, а то и столичной жизни, оставляли в благодарность денег. Случалось, привечал он и бескорыстно – каких-нибудь неприкаянных бродяг – просто из жалости и от одиночества. Пытаясь чем-то скрасить жизнь, да и заработать, чтобы прокормить себя и Лёшку, взялся, было, выращивать скотину, но не пошло, – поросёнок сдох вскоре после того, как пришел коновал и, смочив самогонном грязное бритвенное лезвие, вырезал подвинку причинные железы, а козу, купленную в надежде на молоко и пух, Толик с голодухи перепродал. Не нужны были никому на «гари» ни молоко козье, ни шерсть, – кто здесь остался, видимо, больше прикипели к самогонке.

Девчонка одна жила у них в Гари – молодая, но беспутная, – раньше была миленькая, но старела, дурнела лицом от года к году, шлялась; если на пьянки куда звали – не отказывала, кто позвал – с тем ночевать и оставалась. Анечка-Кадилка звали её все, кто знал. Ребята рассказывали, что кто-то из пылинских уговорил девку, залез на неё на печке, да таким сивушным потом от тела Анечкиного пахнуло, что и не стал тот парень настаивать, враз отворотило.

Однажды поздней осенью вышел Толик со двора на улицу – хромает, как всегда, а навстречу – Кадилка, курит и несёт что-то под курткой, придерживает бережно.

– Анюта, что ж ты куришь-то всё? Когда уж бросишь? – спросил.

– Да я, Толик, чтобы нашей гари не чувствовать. А то как возвращаюсь из Пылинки, с непривычки сразу в нос шибает. А так, с дымом вроде и ничего...

– Да-а, сколько уж лет прошло, а земля все никак не проветрится, – поддержал Толик, – И в избе всё пахнет – не поймешь, то ли печью, то ли с улицы. А я и так привык, мне табак не нужен. Что под курткой-то?

– Щенок. Хожу, ищу, кому отдать. Хочешь – бери... Наша Найда оценилась.

Из-под куртки высунулся черный нос и блеснули глазёнки.

– А-а, дрожишь, лопухий чертёнок, замерз... Поглажу?

Толик протянул руку к расстёгнутой Анютиной куртке.

– Не промахнись, а то что-нибудь не то погладишь, – дразнясь, засмеялась Кадилка.

Чуть-чуть улыбнулся Толик, как мог – редко получалось у него улыбаться:

– Возьму щеночка... вместе с хозяйкой только.

Анечка посмотрела на него задумчиво, обожгла жалостью в глазах, видно было, колеблется и уже жалеет, что раздражила.

– Бери, Толик, щенка одного...

– А ты что ж?

– Страшно у вас, Толик... – ответила и, передав собачонку, развернулась, пошла восвояси.

Парень посмотрел ей вслед, смахнул со щеки слезу и уже, не сдерживаясь, во весь рот улыбнулся маленькому мохнатому комку:

– Пойдём, будешь сначала в доме жить – пусть Лёшка с тобой возится, играет, а подрастешь немного – на цепь!

2.

Назвали братаны щенка по-простецки Дружком. Подрос немного пёс, – оказалось, с каким-то крупным породистым кобелем его Найда пригуляла, – большой вымахал, и Толик, поняв, что не прокормит животину, отпустил Дружка на вольные хлеба. Тот рыскал вечно голодный, подьедал, где найдёт, помой, на цепь его хозяин так и не посадил, и только на ночь забивалась псина спать то под койки, а то с Подгарочком в обнимку – где придётся.

То ли от постоянных горестей, то ли от редких радостей Толик начал понемногу попивать, но хватило ума остановиться, понять, что пропадёт без него Лёшка, а чтобы к выпивке перестало тянуть, решил навеститься в Сорокоумово.

В Сорокоумове Толик бывал несколько раз, сопровождая к старой знахарке Наталье пьяниц. Пошел теперь туда сам, в одиночку, да увязался за ним Лёшка, и сколько Толик ни отгонял братца, ни пугал его трудной дорогой, тот ни в какую – «Пойду с тобой!» – и всё тут. Сорокоумово было далеко – идти через лес и два ручья, и хоть сподручнее получалось в зиму на санях, но теперь было лето, и шли они долго-долго, обходили топкие ручьи с болотинами, и так намучился Толя со своей ногой и с малым брательником, что после похода лежмя лежал на печи два дня.

Прежде чем выйти к Сорокоумову полю, Толик с Лёшкой блуждали по рыжему древнему ельнику, в котором было темно, глухо и мёртво. Где-то хлестануло Толика злой веткой в глаз – насыпало древесной пыли. Веко стало как наждачное, и моргать было колко, и слеза не вымывала сор. В ельнике напугали их павшие деревья – сгнившие в труху стволы с вывороченными корневищами. Эта галерея причудливых, засохших вместе с комьями земли скульптур – словно фантастических надгробий, порождала такое чувство, что в этой части леса людям не рады. А в роще, сменившей ельник, в столбиках света, бьющего сверху, был блеск капелек росы в паучьих нитях и, в тысячи крыльев, – сверкание кружащейся мошкары. Здесь была жизнь, исчезали сразу и видения, и страхи. Весь массив леса отсюда устремлялся вверх, к сухой светлой поляне с разреженными молодыми деревьями – на таких полянах дружными ватагами сразу на пяток-десяток корзин или ведер любят расти в августе белые грибы.

Последний ельник с сухостоем резко закончился, вытолкнул братьев из буреломной чащи – перед ними было пряное, стрекочущее, бескрайнее поле – пенилось хлопьями цветов, качалось травами, пело пичугами, пчелами жужжало, – и вдали, может, посередине, может, ближе, стоял дом, обросший одичалым садом. Один дом на всё поле, только далеко до него. Это и была деревня Сорокоумово. Люди-можжевелики стояли среди трав то тут, то там: вот вроде баба с корзиной, а вот охотник с ружьём, а рядом будто и волк – словно все к тому одинокому дому путь держали. А подойти ближе – кусты кустами. Вот так обман!

Трудно было добираться до Натальино дома – ног путники уже не чувствовали, Толик цеплялся за кочки, кусты, падал, Лёшка, хоть и маленький, а старшего брата, сколько было силенок, поднимал, за руку тянул, – шли дальше, пока, наконец, к покосившемуся крыльцу не подошли вплотную.

В этом доме посреди поля и жила бабушка Наташа. Худая была, костлявая, сторбленная. Шептала она наедине, выгнав сначала всех провожатых в поле – подальше от избы. Так и с Толиком – Лёшку за порог, а самого попросила до колодца дойти, воды достать. А сама, хоть и жара, лето, – натопила печь.

– Попей, – сказала Толе, – пока водички. Она целебная – Петрушина водичка, святая.

– Почему Петрушина? – спросил Толик.

– Да... – старуха усмехнулась, – птенчик один раненый в колодец угодил. Петрушей назвала, выходила, выпустила. Прилетает иногда, в окошко стучит.

Поставила Толику стопку, плеснула туда самогона и разбавила водой:

– Пей, пей, – повторила.

Толик такому лечению обрадовался, заулыбался. «Ещё, – говорит, – можно?». «Э-э, нет, – отвечает, – отраву нельзя, а воды попей». Потом отправила клиента на печь, а сама шептать начала:

– Ты лежи, лежи, а я тебе расскажу про Петрушину водичку...

А перед тем, как зашлёпывать, дурь несла всякую несусветную. Немецкий офицер в войну у нее в доме стоял, – сказывала. «Пан, – говорю, – дай хлеба! А он и хлеба даст и шоколада еще отломит, и солдатам велел меня, молодуху с дитёнками, не трогать, не обижать. А разведчики наши, под утро на выпасе подкараулят, куда я корову водила, и: „Ложись, баба!“ – шепчут, рот ладонью зажмут и лезут под подол и коленки лапами холодными в стороны расталкивают. А куда денешься, на помощь не позовёшь, а то разведка своя родненькая и прирежет, как фашистскую подстилку, а детки дома ждут».

– Не могли наши так, баба Наташа, – возмутился Толик, – может, это не разведчики, а штрафбат какой был?

А старуха уже и не слушала, и не ведала она всей исторической науки про штрафбаты да плен, да власовцев, которую теперь вся молодёжь по фильмам да передачам знала, все едино бабке было по возрасту, с козой беседовала – коза у неё в избе ходила, рогами трясла, на койку всё лезла, котяхи свои по полу разбрасывала.

И не узнал Толик никогда, что у бабкиной истории и продолжение имелось.

...Отдала тогда Наталья корову. Не сама отдала – забрали воины наши голодные всё на том же выпасе, когда из окружения группками выйти пытались. Настоящие воины были – не предатели, не сдались они в плен вместе с генералом Власовым. Просто война им все мозги повыворачивала.

«Где корова?» – фрицы наутро спрашивали, а она им: «Волки загрызли».

Тогда Натальино старшенького сына пан офицер этот добрый берёт за руку, выводит в поле, отпускает и Наталье говорит: «Смотри, – так волки корову грызли?»

И собак чёрных и круглых, как бочонки, бесхвостых, на её Петрушу спускает. Затравил, демон, мальчонку собаками, в колодец истерзанное тельце изуверы сбросили. Она перетерпела, пережила, дочь же ещё есть – жить надо, сильная баба была Наталья, солдатка – первой у них в округе мужнину похоронку получила.

Уходя, немцы всю деревню пожгли, сорок домов сгорело в пожарище. Натальин дом только один почему-то оставили и, странно, пламя на него не перекинулось – как заговоренный стоял. Больше ничего на месте пепелища не строили, и деревья ни одного путного на этом поле не выросло, – одна трава да можжевельники...

Правда то было, что про военное время рассказывала Наталья, или нет, Толик не знал, но то, что все, кто к бабке зашёптываться ходил, и пить, и курить переставали и становились людьми, – с этим было не поспорить.

После шептания бабка Наташа сказала:

– Веткой в лесу в глаз тебе хлестнуло. Промой, Толик, его водичкой Петрушиной, очистится от пыли, может, по-новому видеть начнёт. И коленку себе сбрызни, тряпочку приложи. Где там братец твой? Эй, Лёшка! – гаркнула.

Не ожидал Толик от старухи такой силы голоса. И Подгарочек услышал, вошёл.

– Оставь мальчика у меня на недельку, – просит бабка. – Личико ему умывать буду. Не узнать станет мальчишку.

Согласился тогда Толик. Хоть и страшно было оставлять брата, но водичка, и правда, волшебной показалась – и глаз очистился сразу, и хромоты вмиг убавилось. И через неделю, когда сильными, словно новыми ногами легко, – даже Дружок за ним не поспевал, – пришагал, почти что прилетел забирать своего Подгарка, обомлел: все рубцы у пацанёнка выровнялись, рассосались, и лишь чуть белее были обожённые места, чем остальная осмуглившаяся за лето ребячья кожа. И даже бровки с ресницами начали пробиваться.

Вернулись к себе в Гарь, и люди диву давались. А может, только казалось так Толику – ведь глаз его, как и предсказывала бабка Наташа, по-новому теперь на всё смотрел.

3.

Как-то ночью Дружок вдруг истоиво залаял, заметался, забегал от окна к окну, к двери, запертой на крючок, и обратно – будил хозяина, толкал мокрым носом: «Вставай! Чужой кто-то идёт сюда...»

Разоспался Толик, никак не проснётся, глаза открыл, лишь когда уже напуганный Лёшка за плечо его трясти начал, а в уличную дверь стали колотить и кричать:

– Здесь Толя Павлов живёт? Искал по старому адресу, а там – гарь одна! Толя!

Голос мужской был, вроде смутно знакомый, а может, и показалось. Пошёл хозяин открывать, а сам Дружка придерживает:

– Тихо, – говорит, – Дружок! Как будто, свои...

Открыл дверь, всматривался в длинную нескладную фигуру – долговязый оказался гость, в бежевой ветровке, в джинсах тонких, обут не то в туфли, не то в тапочки, – тоже какие-то голубые, – и весь этот светло-синий низ был сплошь в репейных цеплючих катышках. На плече плоский деревянный ящичек, и горбом на спине – рюкзак. А лицо знакомое – всё тот же крупный, как вытянутая слива, нос с тонким горбиком. Лёнча питерский!

– Толя? – говорит.

– Здравствуй, Лёнчик! Давно не виделись, – приветствовал хозяин нежданного гостя.

– Толик, я там... Найти не мог, стены одни обугленные стоят, дорога со станции заросла. Брёвна чёрные торчат, печи... Пожар был, да? Хорошо, соседи подсказали, а то бы не нашёл тебя. Страшно там.

– Там страшно, а здесь ещё страшнее, – еле разомкнул зубы Толик. – Молодец, Лёня, что приехал. Проходи... Да тихо, Дружок, свои...

– Когда пожар-то был? – спросил Лёнчик.

– Семь лет уже...

– А мать?

– Погибла, – ответил Толик, неопределенно махнул рукой в сторону не то пепелища, не то кладбища.

– Нда-а... А это чей малец? – И на Лёшку кивает.

И хотел уж было Толик сказать: «Да сын это твой! Не узнаёшь?» – Но то ли сейчас, когда сразу на обоих Леонидов одновременно смотрел, сходства в них никакого не увидел, то ли при маленьком Лёшке не решился, – сказал по-другому:

– Брат это мой.

Иначе представлял себе Лёнчик эту свою поездку после стольких лет, совсем другим ему запомнился померанцевский быт. Было в старой избе, при живой Толиковой матери, и чисто, и выкрашено, и уютно, – белела тогда горница шторами, рюшами, покрывалами на заправленных, каждая в три взбитых подушки, койках. Вкусным супом пахло раньше, блинами со своей сметаной и мятным чаем с конфетами. А сейчас Толик Павлов с братишкой жили в доме, отписанном им покойной бабушкой. Их изба, рубленая еще задолго до того, как поселок Померанцево стал просто Гарью, стояла на отшибе, на новом плану, и поэтому, как и десяток соседних с ней домов, уцелела, убереглась от пожара. Каждый вечер, дождавшись, когда брат Лёшка сморится и, по обыкновению, уснёт не в своей койке, а где придётся – то на сундуке в сенцах, то прямо на полу, свалив, скомкав под себя какую-нибудь одежду, – Толик поминал Лёшкиного отца недобрым словом.

Как-то раз, ещё до пожара, в канун своего семнадцатилетия, Толик ходил в деревеньку Артемьевку. Ходил встретиться с Вадькой Румянцевым и расспросить его о северной столице – Вадька пропадал там целый месяц на своей первой рабочей вахте и, вот, сказали, вернулся. Вернулся не один, привёз с собой приبلудного питерского паренька – вроде и культурного, и с образованием, но какого-то нежизнеспособного, что ли, вялого да ещё и изрядно подспитого. Толя-то привык, что местные алкаши все или старые доходяги или здоровые красномордые кабаны вроде Вадьки, – и тем, и другим поорать бы да подраться, а таких, как этот, он ещё не видал. Назвался питерец Леонидом: хоть и было ему около двадцати пяти, может, и побольше, но то ли парень, то ли мужик – на вид не поймёшь, для таких хорошее слово в народе придумали – малый. Ростом малого Лёнчика бог не обидел, вытянул каланчу на метр девяносто, но мяса не дал, и Лёнчик смотрелся подростком-девятиклассником, который за каникулы вымахал, а заматереть не успел, остался большим дитятей. Не шло Лёнчику ни пить, ни с похмелья болеть, и, как Толик помнил, дрожал тогда этот питерец мелкой дрожью, думки мрачные гонял по лицу, морщинки ранние на лбу в гармошку складывал, и глазик один у него подёргивался – болел человек, видно было, что или выпить ему хотелось, или, если нет, то уж поскорей от пьянки выходиться. Вадька в Питере подобрал это чудо случайно, когда сам проснулся в парке на скамеечке, после празднования долгожданной зарплаты, и очень удивился, что находится не в милиции и что большая часть денег всё ещё при нем. На соседней скамейке как раз сидел Лёнчик, совсем как тот сказочный заяц, из лубяной избушки выгнанный, плакал и тянул дешёвенькое пиво.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.